



Чай с птицами

Джоанн Харрис

Волшебный опыт с начала до конца
от прославленного автора «Шоколада»

Annotation

Впервые на русском — единственный сборник рассказов от Джоанн Харрис, автора таких бестселлеров, как «Шоколад», «Темный ангел», «Леденцовые тфельки», «Пять четвертинок апельсина», «Джентльмены и игроки».

Вера и Надежда сбегают из дома престарелых в самый модный обувной магазин Лондона. Ведьминский ковен собирается на двадцатилетие школьного выпуска. А молодая жена пытается буквально следовать рецептам из кулинарной книги своей свекрови — с непредсказуемыми последствиями...

-
- [Джоанн Харрис](#)
 - [БЛАГОДАРНОСТИ](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ВЕРА И НАДЕЖДА ИДУТ ПО МАГАЗИНАМ](#)
 - [СЕСТРА](#)
 - [ГАСТРОНОМИКОН](#)
 - [МИРАЖ](#)
 - [ВЫПУСК ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОГО](#)
 - [ПРИВЕТ, ПОКА!](#)
 - [ВОЛЬНЫЙ ДУХ](#)
 - [АВТО-ДА-ФЕ](#)
 - [НАБЛЮДАТЕЛЬ](#)
 - [КОЖАНЫЙ МИР АЛЕКСА И КРИСТИНЫ](#)
 - [ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД В ДОГТАУН](#)
 - [ФАКТОР И-СУС](#)
 - [МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ](#)
 - [ЧАЙ С ПТИЦАМИ](#)
 - [ЗАВТРАК У «ТЕСКО»\[42\]](#)
 - [ПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ ВЫИГРАЛИ!](#)
 - [В ОЖИДАНИИ ГЭНДАЛЬФА](#)
 - [СЕКСИПУПСИК](#)
 - [РУСАЛОЧКА](#)
 - [РЫБА](#)
 - [ВОР У ВОРА](#)
 - [ТУАЛЕТНАЯ ВОДА](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)

- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)



Джоанн Харрис
Чай с птицами

БЛАГОДАРНОСТИ

Снова, как всегда, тысячу раз спасибо невоспетым героям, которые помогли довести эти рассказы до публикации: моему агенту Серафине Кларк, моему американскому агенту Говарду Морхейму, моему редактору Дженнифер Брель и прочим друзьям в издательстве «Уильям Морроу»; Бри Бэркман, моему киноагенту, Луизе Пейдж и Анн Рив — за то, что не дают мне переступить черту; Джине Бринкли — за дизайн обложки, Кевину, Анушке, Кристоферу и всем прочим, кто вдохновлял меня и помогал писать, даже когда мне хотелось бросить. И наконец, сердечное спасибо всем, благодаря кому мои книги стоят на полках, — книгопродавцам, торговым агентам, распространителям — и вам, читатели, до сих пор идущие за мною следом.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я очень рада, что рассказ после долгой опалы наконец возвращается. Хороший рассказ — а рассказы бывают очень хорошими — остается с тобой намного дольше романа. Рассказ может потрясти, вспламенить, просветить и тронуть так, как более длинному произведению не суждено. Рассказы часто тревожат, пугают или ведут подрывную деятельность в голове. Они ставят вопросы, в то время как большинство романов пытается лишь дать ответы. Оказывается, из всех прочитанных мною книг я помню ярче всего именно рассказы — живые беспорядочные картины, окна в иные миры, в иных людей.

Некоторые рассказы тревожат меня до сих пор. Мне все еще жаль «Пешехода» Рэя Брэдбери. Я до сих пор плачу над «Розой для Экклезиаста» Роджера Желязны. У меня бегут мурашки по спине, когда я вспоминаю «Мы живем хорошо» Джерома Биксби. И каждый раз, когда я еду в метро, я чувствую совершенно иррациональный трепет — исключительно из-за рассказа «Метро по имени Мёбиус», хотя прочла его в двенадцать лет и даже не помню, кто автор.^[1]

Лично у меня рассказы всегда пишутся трудно и медленно. Вместить мысль в такой маленький объем, выдержать пропорции, найти нужный тон — все это трудно, порой до отчаяния. Четыре-пять тысяч слов, которые легко написать за день как часть романа, в виде рассказа могут отнять две недели. Как домашнее вино моего дедушки, любой мой рассказ — эксперимент. Успех никогда не гарантирован; иногда рассказ срывается, а иногда умирает на странице, как слишком длинный анекдот без развязки; а почему — не знаю. Но я люблю рассказы. Мне нравятся их возможности, разнообразие, вызов. Я пишу их, или пытаюсь писать, уже десять лет. Они впервые выходят в виде сборника.

ВЕРА И НАДЕЖДА ИДУТ ПО МАГАЗИНАМ

Четыре года назад моя бабушка поселилась в доме престарелых в Барнсли. Пока она не умерла, я часто туда ездила и почерпнула из этих визитов немало рассказов. Вот один из них.

Сегодня понедельник — значит, опять рисовый пудинг. И не то чтобы они, то есть сотрудники дома престарелых «Поляна», так уж заботились о наших зубах, просто у них плохо с воображением. Я на днях так и сказала Клэр: есть же куча всяких блюд, которые не нужно жевать. Устрицы. Фуа-гра. Салат из авокадо. Клубника со сливками. Ванильное крем-брюле с мускатным орехом. Тогда почему мы видим только пресные пудинги и переваренное мясо? Клэр — хмурая блондинка, вечно жующая жвачку, — посмотрела на меня как на сумасшедшую. Они утверждают, что от изысканных блюд бывает несварение желудка. Не дай бог, наши последние вкусовые рецепторы получают избыток впечатлений. Я увидела, как Надежда ухмыляется, отправляя в рот последнюю ложку рыбного пирога, и поняла, что она все слышала. Надежда слепа, но не позволяет себе распускаться.

Вера и Надежда. Можно подумать, мы сестры. Келли — это та, у которой контур губ всегда слишком яркий, — думает, что мы чудачки. Крис иногда поет за уборкой: «Вера, Надежда, Любовь!..» По-моему, он лучший из них. Бодрый, непочтительный, ему вечно влетает за то, что он с нами разговаривает. Он носит футболки в обтяжку и серьгу в одном ухе. Я говорю ему, что нам только любви не хватало, и он смеется. Он зовет нас «Хиндж и Брэкет»^[2] или «Буч и Сандэнс».^[3]

Я не говорю, что тут плохо. Тут просто слишком *обыденно*, не комфортной обыденностью дома, где даже грязь и хлам свои, родные, — но обыденностью приемного покоя, больницы, пастельно-хлорочный интерьер, пахнувший освежителем воздуха с небольшой примесью подкладного судна. Как правило, нас навещают редко. Я из везунчиков: мой сын Том заходит раз в две недели, приносит журналы, букет хризантем — последний раз были желтые — и новости, но только те, что, по его мнению, меня не расстроят. Правда, он невеликий мастер светских бесед. *Ну что, мам, как ты тут вообще?* и пара замечаний насчет сада — на большее он не способен, но намерения у него добрые. Что же до Надежды, то она здесь

уже пять лет — даже дольше меня — и ее еще ни разу никто не навестил. На прошлое Рождество я вручила ей коробку конфет и сказала, что это от ее дочери, живущей в Калифорнии. Она улыбнулась типичной для нее саркастической улыбкой.

— Дорогая, если это от Присциллы, то ты — Джинджер Роджерс,^[4] — сказала она, поджав губы.

Я засмеялась. Я уже двадцать лет передвигаюсь в инвалидном кресле, а танцевала последний раз, когда мужчины еще носили шляпы.

Но мы справляемся. Надежда толкает мое кресло; я говорю, куда толкать. Правда, ей не нужен поводырь: она может передвигаться по всему зданию, ориентируясь по пандусам. Но медсестры любят, когда мы проявляем находчивость. Это соответствует их идеологии: разумная экономия. И конечно, я ей читаю. Надежда обожает книги. Вообще, это она первая сподвигла меня на чтение. Мы прочитали «Грозовой перевал», «Гордость и предубеждение», «Доктора Живаго». Здесь мало книг, но раз в четыре недели приезжает передвижная библиотека, и мы посылаем Люси взять нам что-нибудь интересное. Люси — студентка колледжа, практикантка, так что выбирает со знанием дела. Правда, она отказалась принести нам «Лолиту» и тем привела Надежду в ярость. Люси сочла эту книгу неподобающей.

— Один из величайших писателей двадцатого века, а вы записали его в «неподобающие»!

Надежда когда-то преподавала в Кембридже, и у нее в голосе до сих пор иногда слышится повелительный металл. Но я видела, что Люси не слушает. У них, даже у тех, кто поумнее, бывает такое выражение на лице, улыбочка детсадовской воспитательницы: «Мне-то лучше знать. Мне виднее, потому что ты старуха». Все тот же рисовый пудинг, говорит Надежда. Рисовый пудинг для души.

Надежда помогла мне полюбить книги, а я, в свою очередь, приохотила ее к журналам. Журналы — моя страсть уже много лет: гламурные моды, светская хроника, ресторанные обзоры и рецензии на новые фильмы. Я начала с рецензий на книги, хитро усыпила бдительность Надежды, читая ей то какую-нибудь статью, то заметку о моде. Оказалось, у меня талант на словесные описания, и теперь мы вдвоем блаженно теряемся в глянцевых эфемерных просторах, стеная над бриллиантами от Картье, губной помадой от Шанель, роскошными невозможными одеяниями. Вообще, странно. Когда я была молодая, меня эти вещи совершенно не интересовали. Я думаю, Надежда одевалась элегантнее меня, всякие там балы в колледже, вечеринки преподавателей, летние

пикники на Задворках.^[5] Сейчас, конечно, мы одеваемся одинаково. Гламур а-ля дом престарелых. Здесь почти все общее: многие не помнят своих вещей, поэтому воровство процветает. Я ношу свои лучшие вещи с собой, в багажной сетке под днищем инвалидного кресла. Деньги и драгоценности, которые у меня еще остались, спрятаны в подушке сиденья.

Предполагается, что денег у нас нет. Здесь их не на что тратить, а на улицу нас без сопровождения не выпускают. На двери кодовый замок, и кое-кто пытается выскользнуть вместе с уходящими посетителями. Миссис Макаллистер — ей девяносто два, она бодра и совершенно безумна — все время убегает. Она думает, что идет домой.

Кажется, все началось с туфель. Глянцевых, лакированных, красных, как яблочные леденцы, с бесконечными каблуками. Я нашла их фотографию в одном журнале и вырезала. Время от времени, когда никого не было рядом, я доставала картинку и смотрела. У меня кружилась голова, и я чувствовала себя немного глупо — непонятно почему. Можно подумать, это была фотография мужчины или чего-нибудь такого. А это всего лишь обувь. Мы с Надеждой носим одинаковые туфли: неуклюжие, без шнурков, из кожзаменителя цвета овсянки, бесспорно и чрезвычайно «подобающие». Но втайне стонем над шестидюймовыми прозрачными каблуками от Маноло Бланика, над ярко-малиновыми замшевыми мялями от Джини или расписанными вручную шелковыми туфлями от Джимми Чу. Конечно, это абсурд. Но я захотела эти туфли с такой силой, что самой страшно. Хотела хоть разок ступить в глянцевую, ликующую журнальную страницу. Попробовать рецепты; посмотреть фильмы; прочитать книги. Все это воплотила в себе пара туфель: жизнерадостный, беззастенчивый красный цвет, откровенно невозможные каблуки. В этих туфлях можно делать что угодно: вальяжно раскинуться в кресле, возлежать, красться, гордо вышагивать, летать, — но только не ходить.

Я держала вырезку в сумочке, иногда вынимая и разворачивая, словно карту места, где спрятан клад. Надежда вскоре поняла, что я что-то скрываю.

— Это глупо, я знаю, — сказала я. — Может, я съезжаю с катушек. Наверное, я в конце концов стану как миссис Баннерджи — буду носить десять плащей разом и воровать чужое нижнее белье.

Надежда засмеялась.

— Нет, Вера, вряд ли. Я тебя очень понимаю. — Она пошарила рукой по столу, нащупывая свою чашку с чаем. Я знала, что помогать ей нельзя. — Ты жаждешь чего-нибудь неподобающего. Я хочу «Лолиту». Ты — пару красных туфель. То и другое совершенно неподобающе для таких,

как мы.

Она склонилась ко мне и понизила голос.

— Там адрес есть?

Адрес был. Я ей об этом сказала. В Найтсбридже.^[6] С тем же успехом мог быть в Австралии.

— Эй! Буч и Сандэнс! — Это жизнерадостный Крис пришел мыть окна. — Ограбление замышляете?

Надежда улыбнулась.

— Нет, Кристофер, — лукаво сказала она, — Побег.

Мы все спланировали с хитростью и скрытностью военнопленных. У нас было громадное преимущество: внезапность. Мы не были склонны к побегу, как миссис Макаллистер, — нам доверяли, как приятно вменяемым и надежно нетранспортабельным. Я предложила применить отвлекающий маневр. Как-то убрать дежурную сестру от конторки, оставив входную дверь без наблюдения. Надежда стала околачиваться у двери, слушая звук нажимаемых кнопок, пока не обрела почти полную уверенность, что может воспроизвести комбинацию. Мы все рассчитали с точностью опытных стратегов. В пятницу утром, без девяти девять, я взяла в гостиной окурок мистера Бэннермана и спрятала у себя в комнате, в металлической мусорной урне, полной бумаги. Без восьми мы с Надеждой уже были в вестибюле и направлялись в комнату для завтрака. Через десять секунд, как я и ожидала, сработала пожарная сигнализация. Из нашего коридора донеслись крики миссис Макаллистер: «Пожар! Пожар!»

Дежурила Келли. Смышленная Люси не забыла бы запереть дверь. Тупая Клэр могла вообще не уйти с поста. Но Келли схватила со стены ближайший огнетушитель и помчалась на шум. Надежда подтолкнула меня к двери и стала нащупывать панель управления. Без семи девять.

— Скорей! Она сейчас вернется!

— Ч-ш-ш. — («Пи-пи-пи-пи».) — Отлично. Все-таки не зря меня в детстве гоняли на уроки музыки.

Дверь открылась. Мы с хрустом выкатились на освещенный солнцем гравий.

Вот тут Надежде уже нужна моя помощь. Это реальный мир, тут пандусов нет. Я старалась не плякаться, как замороженная, на небо, на деревья. Том уже полгода не вывозил меня наружу.

— Прямо вперед. Налево. Стоп. Впереди рытвина. Осторожно. Опять налево.

Я помнила, что автобусная остановка сразу у ворот. Автобусы ходят

как часы. Каждый час — в двадцать пять минут и без пяти. Из гостиной всегда слышно, как они гудят и скрипят, словно капризные пенсионеры. Секунду я в ужасе думала, что остановки больше нет. На ее месте велись дорожные работы; край тротуара был отгорожен тумбами. Потом увидела в пятидесяти метрах от себя на невысоком металлическом столбике знак временной автобусной остановки. На гребне холма показался одышливый автобус.

— Быстро! Полный вперед!

Надежда отреагировала мгновенно. Ноги у нее длинные и все еще мускулистые; в детстве она занималась балетом. Я наклонилась вперед, сжимая сумочку, и подняла руку. За спиной послышался крик; обернувшись на дом престарелых «Поляна», я увидела в окне своей спальни Келли, которая что-то кричала, открыв рот. На секунду я испугалась, что автобус не возьмет старуху в инвалидном кресле, но это был «больничный» маршрут и автобус со специальным пандусом. Водитель безразлично посмотрел на нас и махнул рукой: заезжайте. И вот мы с Надеждой в автобусе, цепляемся друг за друга, как легкомысленные девчонки, и хохочем. Люди смотрят, но в большинстве своем равнодушно. Мне улыбнулась маленькая девочка. Я поняла, что уже очень давно не видела детей.

Мы сошли у станции. На деньги, вытащенные из-под сиденья, мы купили два билета до Лондона. Я было ударилась в панику, когда кассир потребовал пенсионное удостоверение, но Надежда хорошо поставленным голосом кембриджского профессора сказала, что мы поедем за полную стоимость. Кассир долго чесал в затылке, потом пожал плечами.

— Дело ваше, — сказал он.

Поезд был длинный, в нем пахло кофе и паленой резиной. Я направляла Надежду вдоль платформы туда, где проводник спустил пандус.

— Едем в город проветриться, а, дамочки?

Проводник говорил чуть похоже на Крису, фуражка его была залихватски сдвинута на затылок.

— Милочка, дай я, — сказал он Надежде, имея в виду инвалидное кресло, но она покачала головой:

— Спасибо, я сама.

— Прямо, дорогая, — сказала я.

Я увидела, что проводник заметил слепые глаза Надежды, но промолчал. Это хорошо. Мы с ней таких вещей терпеть не можем.

Бумага с найтсбриджским адресом была все еще у меня в сумочке. Мы устроились в вагоне (жизнерадостный проводник принес кофе и лепешки),

и я опять развернула вырезку. Надежда услышала, что я делаю, и улыбнулась.

— Это смешно? — спросила я у нее, снова глядя на туфли, сияющие и красные, как леденцы Лолиты. — Мы смешны?

— Конечно, смешны, — безмятежно ответила она, отхлебывая кофе. — И это здорово, правда?

Мы ехали всего три часа. Я думала, будет дольше, но поезда теперь стали гораздо быстрее, как и все остальное. Мы выпили еще кофе, поговорили с проводником (которого, как выяснилось, звали не Крис, а Барри), и я стала рассказывать Надежде о видах из окна, слегка расплывавшихся оттого, что мы проносились мимо со страшной скоростью.

— Не беспокойся, — сказала Надежда. — Не обязательно рассказывать про все прямо сейчас. Смотри и запоминай как следует. Когда вернемся, у нас будет куча времени, чтобы все обсудить.

В Лондон мы приехали почти к обеду. Вокзал Кингз-Кросс был гораздо больше, чем я себе представляла, — стекло и величественная копоть. Я старалась разглядеть его как можно лучше, одновременно управляя Надеждой, пробирающейся через разновозрастную, разномастную толпу; на мгновение даже Надежда растерялась, и мы застряли в нерешительности посреди платформы, недоумевая, куда делись все носильщики. Кажется, все, кроме нас, точно знали, куда им надо, люди с портфелями то и дело толкали кресло, прокладывая себе путь к выходу, а мы все стояли, пытаюсь понять, куда нам идти. Моя храбрость начала убывать.

— Ох, Надежда, — прошептала я. — Я, кажется, больше не могу. Но Надежду было не сбить с пути.

— Чепуха, — уверенно сказала она. — Сейчас найдем такси — они вон там, откуда сквозит.

Она показала налево, и я увидела высоко над головами табличку «Выход».

— Будем делать то же, что и все. Возьмем такси. Вперед!

И с тем мы тронулись с места, раздвигая толпу на платформе. Надежда приговаривала кембриджским голосом «разрешите», а я вспомнила, что должна говорить ей, куда ехать. Я опять проверила сумочку, и Надежда хихикнула. Но на этот раз я полезла не за вырезкой. Двести пятьдесят фунтов в «Поляне» казались невообразимым богатством, но по билетам на поезд я поняла, что и цены тоже выросли за годы нашего отсутствия. Я засомневалась, хватит ли нам денег.

Мрачный таксист неохотно засунул мое кресло в черный кеб, пока Надежда меня поддерживала. Я уже не такая худая, как была, и, пожалуй, слишком тяжела для нее, но мы справились.

— Может, позавтракаем? — спросила я, утрированно жизнерадостно, словно в противовес кислому выражению лица водителя.

Надежда кивнула.

— Все равно где, лишь бы там не подавали рисовый пудинг, — ехидно сказала она.

— А что, «Фортнум и Мейсон»^[7] еще на месте? — спросила я у водителя.

— Да, дорогуша, и Британский музей тоже, — сказал он, нетерпеливо газуя.

Мне показалось, что он пробормотал: «Вот там вам самое место». Надежда неожиданно хихикнула.

— Может, мы потом туда и отправимся, — кротко предложила она.

Я тоже рассмеялась. Водитель подозрительно посмотрел на нас и тронулся с места, продолжая что-то бормотать.

Некоторые места вечны. Универмаг Фортнума — одно из таких мест, маленькое пред дверие рая, сверкающее затонувшими сокровищами. Когда все цивилизации рухнут, «Фортнум» выстоит — вежливые швейцары, стеклянные люстры, последний, неприкасаемый, легендарный оплот веры. Мы вошли на первый этаж, минуя горы шоколада и когорты засахаренных фруктов. Воздух был прохладный и сливочный, ванильный, гвоздичный, персиковый. Надежда осторожно поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, вдыхая аромат. Здесь были трюфели, икра, фуа-гра в крохотных баночках, огромные оплетенные бутылки зеленых слив в выдержанном бренди и вишни цвета моих найтсбриджских туфель. Здесь были перепелиные яйца, грильяж в шоколаде, «кошачьи язычки»^[8] в пакетиках из рисовой бумаги и сверкающие батальоны бутылок шампанского. Мы отправились в лифте на верхний этаж, в кафе, пили «эрл грей» из фарфоровых чашечек и хихикали, вспоминая пластиковый чайный сервиз «Поляны». Я бесшабашно, стараясь не думать о своих тающих сбережениях, сделала заказ на двоих: копченая лососина и яичница-болтунья на булочках, легких, как дуновение ветра, крохотные канапе с рулетиками анчоусов и вялеными на солнце помидорами, пармская ветчина с ломтиками розовой дыни, абрикосово-шоколадное парфе^[9] подобное нежнейшей ласке.

— Если в раю так же хорошо, пусть меня заберут туда прямо

сейчас, — пробормотала Надежда.

Даже неизбежный заход в туалет стал откровением: чистый, сияющий кафель, цветы, мягкие розовые полотенца, душистый крем для рук, одеколоны. Я попрыскала Надежду фрезией и посмотрела на наше отражение в одном из огромных сверкающих зеркал. Я боялась, что мы выглядим уныло, может, даже глуповато в кофтах из дома престарелых и в безликих юбках. Может, и так. Но мне показалось, что мы изменились, словно покрылись позолотой: я впервые увидела Надежду такой, какой она, должно быть, была раньше; и себя увидела.

Мы пробыли в «Фортнуме» очень долго. Посетили этажи со шляпами и шарфами, сумочками и платьями. Я запечатлела все в памяти, чтобы потом вспоминать вместе с Надеждой. Она терпеливо катила меня сквозь чащи женского белья, пальто, вечерних платьев, подобных дуновению летнего ветерка; проводила худыми изящными пальцами по шелкам и мехам. Уходить не хотелось; улыбки были прекрасны, но им не доставало блеска; при виде спешащих мимо людей, высокомерных и равнодушных, я опять почти испугалась. Мы подозвали такси.

Теперь я начала нервничать; мурашки побежали по спине, и я опять развернула вырезку, уже побелевшую на сгибах. Я снова ощутила себя старой и унылой. А вдруг меня не пустят в магазин? Вдруг надо мной только посмеются? Еще хуже было подозрение — нет, уверенность, — что у меня не хватит денег на туфли, что я слишком сильно потратилась, что у меня с самого начала было недостаточно... Я заметила книжный магазин, обрадовалась возможности отвлечься, попросила водителя остановиться, мы выбрались наружу с его помощью и купили Надежде «Лолиту».

Никто не сказал, что это неподобающая книга. Надежда держала ее, улыбаясь, водя пальцами по гладкому, ни разу не раскрытому корешку.

— Как хорошо пахнет, — тихо сказала она, — Я почти забыла.

Водитель, чернокожий, длинноволосый, ухмыльнулся нам. Он явно наслаждался жизнью.

— Куда теперь, дамы? — спросил он.

Я не смогла ответить. Дрожащими руками я протянула ему вырезку с найтсбриджским адресом. Если бы он засмеялся, я бы, наверное, разрыдалась. Я уже была готова заплакать. Но водитель только ухмыльнулся еще раз и направил такси в гудящий поток.

Магазин был маленький — одна витрина со стеклянными полками, по одной паре обуви на каждой. За ними виднелся интерьер в светлых тонах, стекло и бледное дерево, на полу — высокие вазы с белыми розами.

— Стой, — сказала я Надежде.

— Что такое? Закрыто?

— Нет.

В магазине никого не было, я видела. Один только продавец, молодой, одетый в черное, с длинными, чистыми волосами. Туфли на витрине — бледно-зеленые, крохотные, как бутоны, что вот-вот раскроются. Ценников не было вообще.

— Вперед! — скомандована Надежда кембриджским голосом.

— Не могу. Это...

Я не смогла договорить. Я опять увидела себя — старую, бесцветную, не тронутую магией.

— Неподобающе, — презрительно рявкнула Надежда и вкатила меня внутрь.

Мне вдруг показалось, что она вот-вот врежется в вазу с розами у двери.

— Левее! — завопила я, и мы проскочили мимо вазы. Чудом.

Молодой человек поглядел на нас с любопытством. У него было умное, красивое лицо, и я с облегчением увидела, что глаза его улыбаются. Я показала вырезку.

— Я хотела бы посмотреть вот эти, — сказала я, подражая повелительному тону Надежды, но голос вышел старческий и нетвердый. — Четвертый размер.

Он чуть округлил глаза, но ничего не сказал. Повернулся и ушел в подсобку — там виднелись коробки, лежащие в ожидании на полках. Я закрыла глаза.

— Я знал, что у меня осталась пара.

Он осторожно вынул туфли из коробки, блестящие, словно облизанные, и красные, красные, красные.

— Можно посмотреть?

Как елочные украшения, как рубины, как небывалые плоды.

— Желаете примерить?

Он ничего не сказал про инвалидное кресло, про старые, шишковатые ступни в бежевых туфлях без шнурков. Вместо этого он встал передо мной на колени, и темные волосы упали налицо. Он осторожно разул меня. Я знала, что он видит червяки синих вен, оплетшие щиколотки, слышит фиалковый запах талька, который Надежда втирает мне в ноги перед сном. Он очень осторожно надел мне туфли; я почувствовала, как опасно выгнулись своды стоп, когда туфли скользнули на место.

— Позвольте, я вам покажу. — Он осторожно выпрямил мою ногу, чтобы мне было видно.

— Джинджер Роджерс, — шепнула Надежда.

Туфли, в которых можно гордо выступать, дефилировать, шагать, парить. Что угодно — только не ходить. Я долго смотрела на себя, сжимая кулаки, ощущая в сердце жаркую, яростную сладость. Интересно, что сказал бы Том, если бы видел меня сейчас. Голова у меня шла кругом.

— Сколько? — хрипло спросила я.

Молодой человек назвал цену, настолько ошеломительную, что сначала я была уверена, что ослышалась, — больше, чем стоил мой первый дом. Осознание с лязгом упало мне в душу, словно что-то уронили в колодец.

— Дороговато, к сожалению, — донесся откуда-то издали мой собственный голос.

Судя по лицу продавца, он чего-то такого и ожидал.

— Ох, Вера, — тихо сказала Надежда.

— Ничего, — сказала я, обращаясь к обоим. — Они мне на самом деле не очень подходят.

Молодой человек покачал головой.

— Не могу согласиться, мадам, — сказал он, криво улыбнувшись. — По-моему, они вам очень подошли.

Он осторожно уложил туфли — цвета валентинки, леденца, гоночной машины — обратно в коробку. В магазине было светло, но, когда туфли исчезли, мне показалось, что свет чуть потускнел.

— Вы только на день приехали, мадам?

Я кивнула.

— Да. Мы замечательно провели время. Но нам уже пора домой.

— Очень жаль. — Он протянул руку к вазе у двери и вытащил оттуда розу. — Не желаете ли взять с собой?

Он вложил розу мне в руку. Совершенный, благоухающий, едва раскрывшийся бутон. Запах летних вечеров и «Лебединого озера». В эту секунду я забыла про красные туфли. Мужчина — не мой сын — подарил мне цветы.

Эта роза до сих пор у меня. На время, пока мы ехали обратно в поезде, я поставила ее в бумажный стаканчик с водой, а дома перенесла в вазу. Желтые хризантемы все равно уже засохли. Когда роза увянет, я засушу лепестки — они все еще необычно сильно пахнут — и буду закладывать ими страницы «Лолиты», которую мы с Надеждой сейчас читаем. Может, это все и неподобающе. Но пусть только попробуют отобрать.

СЕСТРА

Мне всегда было немножко жалко старших сестер Золушки. И я всегда подозревала, что сказки, мультфильмы и пьесы чего-то недоговаривают.

Злым старшим сестрам живется непросто. Особенно под Рождество, в сезон детских спектаклей, — мишура, фальшивый блеск, свист и топанье, плоские шутки, ахи, охи, берегись, вон он прячется за кустом. И визгливые липкие дети, перемазанные мороженым, в тебя плюются или девчонка в костюме принца осыпает мукой, а потом все радостно отправляются в диско-бар «У Золушки» поесть пирожков, «счастливый час» после спектакля, выпивка со скидкой.

Нет, спасибо.

Конечно, в стародавние времена было еще хуже. Этому Гримму за все придется ответить, и Шарлю Перро тоже, и дураку-переводчику. «Стеклянный башмачок», тоже мне. Эти *pantoufles de verre*^[10] стали проклятием всей моей жизни, и даже не важно, что в оригинале они были *vair*, то есть из горностая, и гораздо свободней в подъеме (может, даже налезли бы, то-то сюрприз был бы принцу с его шлюшкой). Нет, стародавние времена были гораздо суровей, и вороны выклевывали нам глаза — после свадьбы, конечно, нельзя же испортить мадам Д'Фу-ты-Ну-ты такой большой день, — и всех злодеев ждали справедливо заслуженные пытки.

Сейчас, конечно, нас карают Диснеем. От этого не легче: зло, которое плюхается на задницу, осыпаемое бомбочками из муки, становится смешным. Быть негодяем нынче унизительно. Очередная толпа на рождественском спектакле в актовом зале мэрии какого-нибудь Трентона-на-Болоте или Барнсли, с участием бывших звезд третьесортных мыльных опер и какого-нибудь типа, один раз засветившегося в передаче «Алло, мы ищем таланты».

Но я не жалею; я профессионал. Не то что эти «артисты до первого дождя», убивающие время между сезонами, между «кушать подано». Быть Злой сестрой — почетно и одиноко, никогда не забывай об этом.

Мы — сестра и я — родились где-то в Европе. Версии расходятся. Впрочем, наша история никого особо и не интересует. Как не интересует, что случится с нами, когда опустится занавес. «И с тех пор они жили

долго» — это не про Злую сестру, не говоря уже о «счастливо».

Отец нас баловал; мать, как все матери, лелеяла надежду, что мы устроимся поскорее (и желательно подальше). Потом случилась трагедия. Любящий отец убился, упав с лошади. Мать снова вышла замуж за вдовца с одной дочерью, и вот тут наша история началась по-настоящему. Вам она, конечно, известна — по крайней мере известна *ее* версия: вдовец умер; мы поработили дочь, очаровательную хрупкую девочку, прозванную Золушкой; сделали из нее прислугу, заставили нас обшивать и готовить нам огромные обеды; по злобе не дали ей стать царицей бала в ночном клубе «У Принца»; мыши, платье, фея-крестная и прочая чушь.

Чушь, я сказала. На самом деле все было не так.

Конечно, она была хорошенькая, если вам нравятся задохлики. Крашенная блондинка; тощая; столь же бледная и хрупкая, сколь мы были полнокровны. Она это нарочно делала: увлекалась сыроядением; одевалась в черное; занималась спортом как ненормальная. Полы у нас вечно сверкали как не знаю что (еще бы; ведь подметание сжигает четыреста калорий в час, а полировка — пятьсот). Она редко говорила с нами, но самозабвенно слушала романтические сказки заезжих менестрелей и никогда не пропускала дешевых пьесок, что разыгрывались воскресным утром на деревенской площади. Она пользовалась успехом у мальчиков (еще бы), но ей нужен был принц. Деревенские парни нашей мисс Д'Фу-ты-Ну-ты не годились.

Конечно, мы ее ненавидели. Мы выглядели обыкновенно (это уже потом, по злобе людской, стали безобразными). При беге у нас тряслись отдельные части тела. У нас были прыщи и косматые волосы, которые не победить никакой укладкой. А мисс Д'Фу-ты-Ну-ты была вся тонкая, гладкая, идеального восьмого^[11] размера. Да ее кто угодно возненавидел бы.

Конечно, она всегда ходила в лохмотьях. Ей это очень шло. К тому же «рваный» стиль в том сезоне был самый писк моды — лохмотья от лучших модельеров, за безумные деньги. Но это стиль для худых; я, с моими ногами, выглядела бы как корова из спектакля. А туфли! Видели бы вы, сколько у нее было туфель в гардеробе, и не только из горноста: крокодилы, норковые, плексигласовые, страусовые, ящеричные, шелковые; все с шестидюймовыми каблуками, из узеньких ремешков, даже зимние (страшно представить, что будет с ее сводом стопы через двадцать лет) — вот так. Вы бы глазам своим не поверили.

Вы когда-нибудь обращали внимание, что история жалует красавчиков? Генрих Восьмой — плохой пиар. Ричард Львиное Сердце —

хороший пиар. Катерина Арагонская — плохой пиар. Анна Клевская — хороший пиар. Во многом виноваты придворные художники, и сказочники тоже. Что было потом, вы знаете: ей достался принц (кстати говоря, он был коротенький, толстый и плешивый), замок, золото, свадьба, белое платье, розовые лепестки, все дела, а мы достались воронам. В чужом пиру похмелье.

Но дальше было еще хуже. Как я уже сказала, Злой сестре не светит «долго и счастливо». Никто даже не подумает написать про нее что-нибудь такое: все слишком заняты суетой вокруг ее величества Д'Фу-ты-Ну-ты и ее идеальных пальчиков на ножках. А что же мы? Просто исчезли? Нет, вот что с нами случилось: мы, забытые сестры — которым скоро суждено было стать Злыми сестрами, Вещими сестрами, сестрами из Божественной комедии, — плавно перекатились в легенду, собрав на себя по дороге, как мусор, всяческие пороки. Мы мимоходом столкнулись с Гриммом и Перро (неудачно для себя), пофлиртовали с Теннисоном, но опять безрезультатно. Мы надеялись, что в двадцатом веке станет полегче, но тут явился Дисней, и тогда мы уже были готовы душу продать за хороший отзыв в прессе.

Но мы уважаем свое ремесло. По крайней мере я; сестра в последнее время все больше подлизывается к зрителям, на мой взгляд, даже слишком, — но я на Рождество всегда в театре, лицо блестит от грима, пудренный парик и юбка с кринолином. Мне хотелось бы думать, что в моей роли есть что-то благородное, почти героическое; скрытый пафос, видимый лишь немногим избранным. Правда, большинство зрителей на меня и не смотрит; они видят только ее — не так ли, мадам Д'Фу-ты-Ну-ты в юбочке с оборками и туфельках с блестками. Мои реплики обычно заглушает свист или смех. Но меня это не остановит. Я профессионал. Под нелепым костюмом, размалеванным лицом прячется тайна. Однажды, повторяю я себе, меня кто-нибудь заметит. *Мой* принц придет однажды. ^[12]

Вчера был канун Рождества. Лучший вечер года. Конечно, спектакли бывают и после, до конца января, но канун Рождества — особый вечер. Затем волшебство иссякает и воцаряется депрессия; все отяжелели и едва шевелятся, тянут время, пережидая выморочный конец сезона. Ряды зрителей редеют. Актеры забывают слова. Труппа увозит спектакль куда-нибудь в Блэкпул или еще какой-нибудь вымерший на зиму курортный городок тихо разлагаться до будущего года. Костюмы уложены в сундуки. Гирлянды распиханы по коробкам. Но сегодня — канун Рождества. Все громче, ярче, визгливей обычного; зрители свистят и топают энергичней; дети липнут сильнее; принц выглядит еще слащавей; коровы в пантомиме

— спортивней; Пуговица^[13] — нелепей... И конечно, старая добрая Золушка, звезда спектакля, — милее, прекраснее, хрупче, блестит еще сильнее и больше обычного похожа на эльфа.

Но ближе к последнему акту я почувствовала себя как-то странно. У меня разболелась голова. Мелькнула мысль — а может, вообще завязать с театром: уехать, выйти на покой, покинуть Европу, поселиться там, где меня никто не знает.

Разбежалась, подумала я. Злой сестре деваться некуда.

И все-таки эта мысль меня не оставляла. Что со мной такое сегодня? Я потрясла головой, чтобы прочистить мозги, и впервые за всю свою театральную карьеру удивилась так, что чуть не пропустила реплику.

Из партера на меня смотрел мужчина. Он сидел близко к сцене, наполовину в тени: высокий, длинноволосый, плечи слегка сгорблены под мохнатой серой шубой, и не сводил с меня глаз.

Это необычно — да что там необычно, поразительно; была как раз ударная сцена Золки: та, где мы с сестрой прихорашиваемся перед зеркалом, а она поет свою унылую песню, и весь театральный скот, рассевшись кругом, сочувственно блеет. И все же сомнений не было (я отважилась бросить украдкой еще один взгляд сквозь тусклое стекло, гадательно^[14]): он смотрел на меня.

На меня. Сердце смешно подпрыгнуло. Он отнюдь не прекрасный принц, это ясно; в жестких волосах проседь — ясно, что и немолод. Но с виду крепок и силен, и большие глаза под копной волос — блестящие, пытливые. Я внезапно очень остро ощутила, как по-дурацки одета — огромный турнюр, громадные ботинки, идиотский подкладной бюст. Я строго сказала себе: ему смешно на меня смотреть. Но он не улыбался.

До конца сцены я чувствовала, что он не сводит с меня глаз. Когда я вернулась на сцену после омерзительно слащавого дуэта Золки с принцем, он ждал меня; ждал и потом. Когда мучная бомбочка попала мне в лицо и зал взорвался злорадным смехом, он один не смеялся. Вместо этого — опустил голову, словно печалась (подумала я) об унижении благородной, гордой женщины. У меня бешено колотилось сердце. Я отыграла финальную сцену словно в забытьи, механически произнося реплики, и все время возвращалась взглядом к мужчине, который все так же следил за мной из теней. Нет, он не красавец; но в лице видны характер и какая-то дикая романтика. Руки — огромные, почти лапы, — кажется, могут быть и нежными. Глаза в темноте светились золотом обручального кольца. Я вся дрожала.

Вот и последний акт подошел к концу. Мы вышли на поклон. Взявшись за руки, подошли к краю сцены, и, когда я наклонилась, он вскочил и настойчиво шепнул мне на ухо:

Встретимся на улице. Пожалуйста.

Я дико заозиралась, все еще наполовину ожидая, что какая-нибудь другая женщина — красивей, достойней меня — шагнет вперед, показывая, что просьба адресована ей. Но он смотрел на меня не отрываясь золотыми колечками глаз. Уставясь на него, совсем забыв про дурацкую потную руку рядом стоящего актера, я увидела, как он кивнул, словно в ответ на невысказанный вопрос:

Я?

Да, ты.

И исчез в толпе, быстро и бесшумно, как охотник.

Мы выходили кланяться четырнадцать раз. Серпантин пролетал у самого носа, падало конфетти, нашей мадам и ее слащавому Прекрасному Принцу поднесли цветы. Я видела зрителей, которые вопили и аплодировали (плюс немного свиста и топота сами знаете для кого), но в голове у меня воцарилась великая тишина, огромное удивление. Словно на темечке открылся третий глаз, о существовании которого я не подозревала. Когда занавес опустился совсем, я сорвала с себя парик и кринолин и помчалась к служебному выходу, уверенная, что его там нет, что это была шутка, что он — кто бы он ни был — ушел навсегда и забрал с собой кусок моего сердца.

Он ждал в проулке за театром. Неоновая вывеска диско-бара «У Золушки» через дорогу расцветила его волосы странными оттенками. Я побежала к нему, снег хрустел у меня под ногами. Я не доставала ему и до плеча, хотя я довольно высокая. Впервые в жизни я ощутила себя маленькой, хрупкой.

— Я сразу понял, — прорычал он, когда я влетела в его объятия. — Как только тебя увидел. Совсем как в сказках. Как по волшебству.

Говоря это, он яростно целовал меня, терся лицом о мои волосы, словно изголодавшись.

— Пойдем со мной. Прямо сейчас. Уедем вместе. Брось все. Рискни.

— Я? — прошептала я, едва дыша. — Но я же Злая сестра.

— Хватит с меня примадонн. Они все одинаковые. Была у меня одна девочка... — Он помолчал, опустив голову, словно ему было больно вспоминать. — Теперь-то я ученый. Умею видеть сквозь маски.

Он опять помолчал, глядя на меня.

— Сквозь твою — тоже.

Он говорил, а я цеплялась за него, уткнув лицо в косматый серый мех его шубы. Я слышала, как бьется мое сердце — еще быстрее, чем раньше.

— Но я же... — начала я опять.

— Нет. — Он нежно провел пальцами по моему лицу, стирая грим. — Неправда.

На мгновение я попыталась представить себе, каково не быть Злой сестрой. Слово «злая» тащилось за мной всю жизнь; оно меня определяет. Кто же я буду без него? От этой мысли я вздрогнула.

Незнакомец увидел выражение моего лица.

— Это всего лишь роли, — сказал он. — «Хорошие», «Плохие» и «Злые». Мы тоже герои в своем роде. Те, кто уползает с проклятьями, когда падает занавес. Те, кого списали со счетов. Те, кому не светит «долго и счастливо». Мы с тобой — одной породы. После всего, что нам выпало, мы имеем право на кусочек своей жизни.

— Но... а как же сказка... — слабо возразила я.

— Другую напишем. — Голос был очень уверенный, очень сильный.

Остатки моей решимости рушились. Позади нас диско-бар «У Золушки» запульсировал ударным ритмом. Начинаясь «счастливый час».

— Но я тебя даже не знаю! — запротестовала я.

Я, конечно, имела в виду, что не знаю себя; что прожила всю жизнь в Злом сестричестве и не умею быть никем другим. Впервые в жизни мне захотелось плакать.

Незнакомец ухмыльнулся. Я заметила что у него довольно большие зубы, но глаза добрые.

— Зови меня Волчок, — сказал он.

ГАСТРОНОМИКОН

Многим не верится, что «Злое семя» и «Спи, бледная сестра» написаны тем же автором, что «Шоколад» и «Ежевичное вино». Я написала этот рассказ, чтобы перекинуть мост через пропасть. И еще потому, что еда — это тоже иногда страшно.

Каждый раз, как мы приглашаем гостей к ужину, непременно что-нибудь случается. В прошлый раз появился странный запах, откуда-то изнутри стены послышался лязг и еще внезапно материализовался небольшой и чрезвычайно омерзительный гомункулус, которого я быстро сунула в измельчитель мусора, пока он не успел потоптаться по волшебным булочкам,^[15] только что покрытым глазурью. Свет в столовой как-то потускнел, замерцал, принял странный красноватый оттенок, но все решили, что это неполадки с проводкой, и я относительно легко вышла из положения, предложив гостям кофе и напитки в гостиной.

Кажется, никто не слышал звуков, доносящихся с кухни через сервировочное окошко (шорохи, словно там что-то ползало), а если и слышали, то из вежливости не подали виду.

Должно быть, все дело в пудинге.

Остальное было относительно безобидно: коктейль из креветок, жареная курица, зеленый салат, ростбиф с картофельным пюре, зеленым горошком и морковью. Эрнест попросил на десерт пирог с яблоками; он всегда просит пирог с яблоками. Но мне хотелось попробовать приготовить что-нибудь поинтереснее: торт «Черный лес», например, а может, лимонный. Конечно, из-за вкусов Эрнеста особо не разбежишься: в поваренной книге есть целые разделы, которыми я никогда не пользуюсь, потому что Эрнест не ест ничего необычного, ничего иностранного. Совсем непохоже, что он сам частично иностранец. Он такой типичный англичанин — не выходит из дому без галстука, не пропускает «Арчеров»,^[16] голосует за консерваторов и любит маму.

Надо сказать, я видела ее всего два раза, еще когда Эрнест за мной ухаживал. Ее вид меня слегка удивил. Она, конечно, переменяла имя, но видно было, что она не здешняя. У нее длинные черные волосы, схваченные серебряной заколкой, и очень темные глаза. У Эрнеста волосы не такие темные, глаза скорее зеленоватые, чем темно-карие, и кожа не так золотится, но все же видно, что он на нее похож.

Она оделась в английское, как Эрнест, но у нее получилось хуже: в нормальном платье, но без чулок, и босые ноги обуты в маленькие золотые сандалии. Вместо кардигана у нее было что-то вроде расшитой шали, с какими-то надписями, вышитыми золотой нитью по краям. Я, помню, втайне очень растерялась оттого, что мать Эрнеста оказалась такая иностранка; он, кажется, тоже этого слегка стеснялся, хотя видно было, что он к ней очень привязан. По мне, так даже чересчур привязан: гладил ее по голове и все время суетился вокруг нее, словно она больная или старая. Она не была ни больной, ни старой; на вид ей было от силы лет тридцать пять, и она была прекрасна. Я редко говорю так о людях, но тут уж другого слова не подберешь: она была прекрасна. Мне стало слегка не по себе: я никогда не отличалась особой красотой, а вы же знаете, что говорят про мужчин и их мамочек.

Отца Эрнеста я никогда не видела. По словам его матери, он был англичанином, но исчез из виду давным-давно, когда Эрнест еще был маленьким. Фотографий у нее не было, и ей, кажется, не очень хотелось о нем говорить.

— Женщинам нашего рода вообще не везет на мужчин.

Больше она ничего не сказала. Должно быть, его родители были не в восторге, что сын женился на иностранке. По правде сказать, мои родители тоже были бы не в восторге, если бы знали.

Но она, кажется, меня одобрила. А после свадьбы она уехала — кажется, их семья была из Персии или какой-то из арабских стран, и, хотя Эрнест никогда об этом прямо не говорил, я думаю, она уехала обратно домой. Я старалась не показывать виду, но втайне была очень довольна. Не знаю, что сказали бы наши соседи, если б ее увидели.

Поваренную книгу она подарила нам на свадьбу. Эрнест, кажется, догадался, что это, стоило ему завидеть большой сверток в алой бумаге, — он схватил мать за плечи и быстро-быстро заговорил на неизвестном языке. Его лицо исказилось от наплыва чувств, и мне показалось, что у нее в глазах стояли слезы. Хорошо, что, кроме меня, этого никто не видел.

Наконец Эрнест взял сверток. И мне почему-то показалось, что с неохотой. Потом, бросив взгляд на мать, он вручил сверток мне.

— Это фамильное достояние, — мягко сказал он. — Оно передавалось от матери к дочери на протяжении многих поколений. Это самое дорогое, что у нее есть. Она говорит, что знает: тебе можно это доверить.

Мать молча кивала, в глазах ее все еще стояли слезы.

Я содрала алую бумагу (не очень свадебный цвет, подумалось мне). Честно говоря, я не поняла, отчего столько шуму. Обыкновенная старая

книга в кожаном переплете, потемневшие, засаленные листы. Неровно обрезанные страницы испещрены мелкими буквами. Местами страницы так запачкались, что ничего не прочитаешь, даже если знать язык.

Все страницы разной толщины, кое-где на полях и между строк иностранного текста что-то вписано от руки. Местами на страницы наклеен новый текст. В самое начало книги кто-то вставил пачку страниц, исписанных другим почерком. Что-то по-английски, что-то на других узнаваемых языках: в основном по-французски и по-немецки. На обратной стороне обложки — кажется, список имен.

— Все женщины нашей семьи, — показав на него пальцем, сказала мать Эрнеста. — Все наши имена тут записаны.

По-английски была только последняя строчка. Зулейха Алажред Пател. Ничего себе. Неудивительно, что она переименовала имя.

— Это поваренная книга? — В обрывках английского текста на полях я разглядела списки ингредиентов. — Я очень люблю готовить.

Эрнест с матерью переглянулись.

— Да, поваренная книга, — сказала она наконец. — Очень старая, очень драгоценная.

— Матушка... очень... дорожит ею, — добавил Эрнест. — Матушка была... ее хранительницей... с тех пор, как умерла ее матушка.

— Спасибо, — вежливо сказала я. — Замечательная книга.

Ох уж эти мужчины, подумала я. Лучше мамочки никто не умеет готовить. Я решила, что теперь Эрнест потребует от меня блюд из мамочкиного репертуара, и надеялась только, что это не будет что-нибудь уж слишком иностранное. Вы же знаете, как липнет запах карри к мягкой мебели. А на нашей улице... ну, сами знаете, как люди любят посплетничать. А Эрнест на вид такой англичанин.

Но я зря волновалась. Когда мамочка уехала, Эрнест сразу стал гораздо спокойнее. Он на самом деле очень тихий человек, безо всяких... страстей, если можно так выразиться. Тогда, с матерью, был единственный раз, когда он при мне проявил сильные чувства. Я, конечно, никогда не сказала бы об этом самому Эрнесту, но, мне кажется, она на него плохо влияла. Без нее ему гораздо лучше.

Хотя насчет рецептов я оказалась права. Он всегда настаивает, чтобы я готовила по мамочкиной книге, даже если у меня есть почти такой же свой рецепт. Сначала мне не хотелось этого делать — сказать по правде, я думала, что это очень негигиенично, всякие там пятна и отпечатки пальцев, но потом я заказала для книги пластиковую обложку, и все пошло на лад. И конечно, Эрнест — человек с очень устоявшимися привычками. Стоит мне

добавить лишний ингредиент или изменить рецепт хоть на волосок, он сразу замечает; а если варьировать рецепт, Эрнест очень сердится. Так что я приучилась дословно следовать книге (надо сказать, что некоторые слова в ней довольно странные, но это потому, что часть рецептов — старинные) и не слишком экспериментировать. У Эрнеста есть любимые блюда, все — из самого начала книги: старые добрые английские рецепты, «пастуший пирог»^[17] и пудинг с мясом и почками.^[18] Из всей книги я использую только эту часть. Во-первых, все остальное написано в основном по-арабски, или какой это там язык. И во-вторых, насколько я могу разобрать, те рецепты для нас вообще слишком экзотичны. Должна сказать, мне иногда хочется попробовать, просто из любопытства, но я знаю, что скажет Эрнест: «Дорогая, это что-то уж очень сложное. Может, просто свиные отбивные пожаришь?»

Так что я ограничиваюсь его любимыми блюдами. Пирог с яблоками, заварной крем. Рулет с джемом. Ирландское рагу. Мясо, запеченное в тесте. Эрнест ничего не говорил, но я догадываюсь, что эти блюда в детстве готовила ему мама. Может быть, его отец их любил. По-моему, это очень трогательно.

Нам с Эрнестом везет. Сразу после того, как мы поженились, он получил работу в большой компании по производству химикатов: постоянное продвижение по службе, удобные часы работы, три недели отпуска в год. Мы купили хорошенький домик в новой застройке и приличную семейную машину. У нас двое детей, Шерил и Марк, оба, конечно, уже почти взрослые, студенты, и учатся хорошо. Мы не болели, не попадали в аварии, нас даже не обокрали ни разу. Месяц назад Эрнест получил очередное повышение — это частенько случается после моих званных ужинов, Эрнест даже шутит, что все дело в моих кулинарных талантах, — и теперь он региональный директор. Конечно, нельзя сказать, что он гребет деньги лопатой. Но куда нам больше? Я не люблю сорить деньгами, не увлекаюсь мехами и бриллиантами. У нас хороший, удобный дом, и мы только что пристроили к нему зимний сад, где так хорошо сидеть. Я хожу в кружок по икэбане, а Эрнест играет в гольф. С детьми все в порядке. С нами ничего не случится.

Но все же я иногда задумываюсь, куда делся мужчина, за которого я выходила замуж. Нет, я не хочу сказать, что несчастна или что-нибудь такое. Я страшно рада, что Эрнест не оказался одним из тех безответственных мужчин, против которых меня предостерегала мать. Но надо признать, что я иногда задумываюсь — а что, если бы он был чуть-чуть более... страстным, что ли. Не таким стопроцентным англичанином.

Интересно, что было бы, если один раз провести отпуск в Бомбее или Марракеше, а не в Скегнесе или Заливе Робин Гуда.^[19] Чуть-чуть опасности, капелька внезапности — просто для разнообразия. Один раз приготовить на ужин не пудинг с мясом и почками, а «гоби сааг алу».^[20]

Месяц назад у нас была серебряная свадьба. Двадцать пять лет, просто не верится. И я задумала приготовить особенный ужин. Эрнест задерживался на работе — того требовала новая должность, — и я решила сделать ему сюрприз. Я достала поваренную книгу и машинально открыла первый раздел, почти полностью переведенный на английский и вполне читабельный в отличие от всего остального.

За двадцать пять лет я выяснила, что первые десять страниц абсолютно безопасны. Конечно, все равно слышатся странные звуки, непонятные запахи, меркнет свет, перспектива заметно искажается, стены словно перекашиваются, но я думаю, это можно потерпеть ради действительно легкого йоркширского пудинга или по-настоящему пышного творожного суфле. Тем более что все эти вещи обычно случаются, только когда пробуешь рецепт первый раз; потом, как правило, все успокаивается. А рецепты действительно невероятно хороши: никакой экономии на ингредиентах, никакого покупного теста, все специи измельчаются вручную в большой каменной ступке, которую Эрнест подарил мне на первую годовщину свадьбы. Я совершенно не против: приготовление еды не терпит спешки. И я получаю удовольствие. Я не очень люблю всякие там устройства, экономящие время, — миксеры, блендеры, микроволновые печи и прочее. Эрнест говорит, что они экономят на вкусе.

Но все-таки двадцать пять лет — это двадцать пять лет. В поваренной книге, должно быть, не меньше тысячи рецептов, а я за все эти годы использовала от силы тридцать. Они самые новые: видно по состоянию страниц. Дальше страницы имеют цвет застарелого кондитерского пергамента, а чернила ржавые и выцветшие. Пометки на английском доходят едва до сотой страницы, притом написаны корявым почерком и почти нечитаемы. «Истолките калебас сырой кукурузной муки с Драконовой Кровью, когда луна в последней четверти...» Ну право же, это несерьезно.

Но все было не так плохо. Полистав книгу, я нашла несколько новых рецептов, с виду интересных, но не слишком замысловатых. Я остановилась на жареной баранине в качестве основного блюда, а на сладкое будет персиковый кобблер с мороженым, но я хотела подать что-нибудь интересное в плане закусок. Ведь не то чтобы Эрнест прямо

запрещал мне выходить за пределы десятой страницы, и в конце концов, у нас годовщина свадьбы. Бывают дни, когда креветочный коктейль, даже идеально приготовленный, все-таки не отвечает важности случая.

Я нашла рецепт примерно на сороковой странице. Часть перевода была на французском, но я почти все поняла, и рецепт мне очень понравился. Кроме того, я напредила себе, что в школе у меня были хорошие оценки по французскому. Я справлюсь. *Entrée*. Это значит «закуска», верно ведь? Я вполглаза пробежала список ингредиентов. Кажется, все в порядке. Некоторые слова были записаны сокращенно (я предположила, что «йог.» означает йогурт) или с причудливой орфографией, так что не сразу и поймешь, что имелось в виду. С длительностью готовки тоже было неясно — я разобрала что-то вроде «долго», не очень понятно, прямо скажем, но решила, что если помариновать мясо с травами час или два, то оно хорошо пропитается.

Сначала все было просто. Я, как обычно, измельчила травы в ступке, добавила чуть-чуть сухого хереса, йогурт и сахар. Маринад показался мне бледноватым, так что я добавила чайную ложку «Услады джентльмена»^[21] — во французском переводе стояло «*garase d'homme*»,^[22] думаю, это оно и есть, только по-французски. В рецепте говорилось просто *viande*^[23] так что я взяла хорошенький кусочек куриной грудки без кожи, нарезала полосками, положила в миску с маринадом и занялась бараниной. Стемнело, но, только дойдя до снятия кожицы с бланшированных персиков, я заметила, что огни кухонных ламп съезжились до булабочных головок и приняли красный оттенок. Послышался запах: словно помойное ведро день простояло на жаре. Это, должно быть, от соседей: я всегда дважды в день протираю кухонный мусорный контейнер с хлоркой. И шум: гулкие удары за стеной кухни; видно, подросток, сын соседей, опять включил магнитофон на полную громкость; слава богу, у нас с нашими детьми никогда не было таких проблем. Я попрыскала в воздухе освежителем и закрыла все окна.

Я начала делать тесто для кобблера, и тут раздался звон: словно подземный колокол повторял снова и снова одну и ту же зловещую ноту. Меня это так выбило из колеи, что я едва не забыла помешать лежащую в маринаде курицу.

Я взглянула на часы в кухне. Эрнест вернется в восемь; значит, у меня осталось чуть больше часа. Если электричество опять начнет дурить, придется поставить свечи на стол. Если подумать, это даже хорошо. Придаст романтики.

Баранина вышла идеально. На гарнир будут запеченный в духовке пастернак, картофельное пюре и свежая зелень. Персиковый кобблер уже стоял под грилем — чтобы получилась хрустящая карамельная корочка. Я опять помешала курицу в маринаде и налила себе в награду бокальчик красного вина.

Половина восьмого. Я выключила гриль, под которым стоял кобблер, и вытащила его, чтобы немного остыл (он гораздо вкуснее теплый, чем горячий, особенно со сливочным мороженым). Я подумала, что курице можно сделать мгновенную обжарку на очень горячей сковороде, а оставшийся маринад уварить — получится отличный соус. По понятиям Эрнеста, это граничит с авантюризмом, но в конце концов, на случай, если ему не понравится, можно заготовить пару креветочных коктейлей.

Колокол все звонил. Я подумала, не постучать ли в стенку, но решила, что не стоит. С соседями лучше жить в мире. Но открыток на Рождество они от меня больше не дождутся.

Я включила радио. Станцию, которая всегда передает классическую музыку — ничего особо причудливого, известные вещи, — и сделала звук как можно громче, чтобы заглушить колокол. Так-то лучше. Я налила себе еще вина.

Я выставила духовку на самую низкую температуру, только чтобы мясо не остыло, и начала накрывать на стол. Пол казался неровным, стены слегка перекошились, и скатерть все время соскальзывала на пол. Я придавила ее посеребренным подсвечником и поставила в середину стола композицию из красных гвоздик. Кажется, я зря выпила, потому что у меня кружилась голова и руки тряслись, так что свеча, которую я пыталась зажечь, все время гасла. Запах тоже возобновился: что-то жаркое, потное, и звон колокола перекрывал даже радио. По правде сказать, с радио было тоже что-то не то: время от времени музыка прерывалась и раздавалось страшное шипение, белый шум — я каждый раз вздрагивала. В комнате стало очень жарко — когда я готовлю, всегда бывает жарко, — так что я установила на термостате температуру пониже и стала обмахиваться газетой.

Без четверти восемь; в комнате совершенно нечем дышать. Только бы грозы не было, думала я, — так стало темно. Из радио уже не слышно было ничего, кроме треска и шума, совершенно никакого толку, так что я его выключила, но шипение все доносилось откуда-то издали, какой-то сухой, словно ползущий, пустынный шорох. Может, опять что-то с электропроводкой. Колокол все звонил, и я вдруг поняла, что рада этому. Мне казалось, что, если он умолкнет, я услышу те, другие звуки — гораздо

яснее, чем хотелось бы.

Я присела. Откуда-то сквозило, но горячим воздухом, не холодным. Я пошла в кухню, проверить, не оставила ли дверцу духовки открытой. Все было в порядке. Тут я заметила что сервировочное окошко приоткрыто на пару дюймов. Красный отсвет падал на кухонный стол. Дверь кухни затворилась, очень медленно, с еле слышным щелчком.

Я никогда не была, что называется, женщиной с причудами. Это одна из черт, которые Эрнест ценит во мне больше всего: я никогда не делаю много шума из ничего. Но когда закрылась дверь, я затряслась. Звуки из-за сервировочного окошка стали доноситься отчетливей: одинокий звон колокола, шорох, словно тащат тяжелое, и что-то очень похожее на голоса — бормочущие, сдавленные голоса, но на языке, которого я не знаю и даже опознать не могу. Свет, падающий на кухонный стол, был совсем не похож на электрический: ближе к дневному, но как-то краснее и темнее, словно от солнца гораздо более древнего, чем наше. Легко было вообразить, что за сервировочным окошком уже никакая не гостиная, а совершенно другое место — страшно старое, страшно безжизненное. Там шуршит пыль, там развалины некогда блистательных городов виднеются лишь холмиками в песке; и там, где красное небо сходится с красной землей, движутся скрюченные *твари*, за пределами видимости и (слава богу) воображения. Я медленно протянула руку к сервировочному окошку, чтобы закрыть его, но, приближаясь дюйм за дюймом, вдруг ощутила уверенность, что с другой стороны другая рука — омерзительно, невообразимо другая — так же медленно тянется к окошку, что она сейчас заденет мою, коснется пальцев и что, если это случится, я закричу и буду кричать, кричать и никогда не перестану...

Конечно, все из-за вина. Отчего же еще? Но я знала, что если останусь в этой кухне еще хоть секунду, то совершенно опозорюсь. Так что я сдернула фартук, схватила сумочку, пулей вылетела в дверь, захлопнула ее и заперла. Конечно, ужин погибнет безвозвратно, но даже эта ужасная перспектива не заставила бы меня снова войти внутрь.

Я уверена, что в ту секунду, как повернулся ключ в замке, я что-то услышала за дверью, в кухне: шорох, словно ползло что-то тяжелое, и жалобное звяканье посуды, словно что-то очень большое проломилось через сервировочное окошко и чашки с блюдцами раскатились по линолеуму. Конечно, скорее всего, у меня просто фантазия разыгралась. А может, все из-за вина. Но я не собиралась рисковать. Только не в годовщину свадьбы. Эрнест меня поймет.

Я столкнулась с ним на дорожке, ведущей к дому, — он прибыл, как

всегда, вовремя.

— Поздравляю тебя с серебряной свадьбой, милый, — сказала я, тяжело дыша, и поцеловала его в щеку.

Он скользнул взглядом по окну кухни, где за тюлевыми занавесками стояло красное зарево.

— Дорогая, ты что-то готовила? — осторожно спросил он. — Ты вся покраснелась.

Я улыбнулась ему храбро, как только могла.

— Я подумала, что можно устроить что-нибудь необычное, сегодня ведь наша годовщина, — сказала я.

Услышав это, он как-то замялся и снова взглянул на окно. На секунду мне показалось, что тюлевые занавески дрогнули и за ними прошла тень — чудовищно бесформенная, чудовищно огромная.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Нет, конечно, нет, — твердо сказала я, разворачивая его спиной к дому. — Я просто подумала, не попробовать ли что-нибудь новенькое. Как насчет рыбы с жареной картошкой? И может быть, сходим в кино? В «Маджестике» показывают фильм с Клинтом Иствудом. А потом можно в паб пойти.

— Э... да, это ты хорошо придумала, — с облегчением отозвался Эрнест.

Мне показалось, что за спиной зазвенело стекло и задребезжала кухонная дверь. Но мы не оглянулись.

— Точно все в порядке? — переспросил он.

— Ну конечно. Просто маленькая авария на кухне. Все будет хорошо. В конце концов, не могу же я каждый день ради тебя горбатиться у плиты? — пошутила я, закрывая за нами калитку.

Мы пошли рука об руку по Акациевому проезду. Я все уберу, когда мы вернемся, решила я. Если повезет, может, даже удастся спасти баранину. Тогда я подам ее холодной завтра на обед с молодой картошкой и салатом. Кобблеру тоже ничего не сделается оттого, что он остыл.

Насчет курицы я не была так уверена.

МИРАЖ

Общеобразовательная школа в Лидсе, где я провела десять насыщенных лет, подарила мне множество рассказов — и во время моего пребывания, и позже. Место действия этих рассказов — обычно частная школа Святого Освальда для мальчиков, вымышленная, но для меня она постепенно становится все более и более реальной. Вот один из этих рассказов. Возможно, будут и еще.

Последний рассказ на свете был написан между без пяти восемь и половиной девятого утра, в пятницу, 1 декабря 2002 года. Видимо, в основном за завтраком, но корявый почерк и режущее глаз отсутствие больших букв и знаков препинания в двух последних абзацах наводили на мысль, что их дописывали в автобусе по дороге в школу. Тетрадь лежала девятнадцатой в стопке из двадцати двух, и это означало, что мистер Фишер дошел до нее ближе к пяти вечера.

Мистер Фишер жил один в маленьком домике в ряду других таких же в центре города. Машины у него не было, поэтому он старался проверить как можно больше домашних заданий по вечерам, в классе, после уроков. Но все равно ему, как правило, приходилось тащить домой в автобусе две-три стопки книг и тетрадей. Мистер Фишер уже сорок лет ходил со старым кожаным портфелем, и тот все еще был в приличном состоянии, хотя истрепался и швы растянулись под тяжестью десятков тысяч — да что там, сотен тысяч — сочинений по английскому. Но сегодня в углу обнаружилась дыра, через которую могли выпасть и затеряться ручки, линейки и прочие мелкие коварные предметы. На улице уже стемнело, и пошел редкий, мокрый, неромантичный снег. Но, желая уберечь портфель от дальнейших страданий, по крайней мере до тех пор, пока дырку не удастся заделать, мистер Фишер решил задержаться еще немного, заварить последнюю чашку чая и закончить проверку тетрадей.

Семестр в школе Святого Освальда выдался неудачный. Для большинства мальчиков из класса 3F писание сочинений стоит во вселенской иерархии где-то рядом с народными танцами и кулинарией. А сейчас, когда Рождество на носу и экзамены придвинулись вплотную, желание творить и вовсе на нуле. Конечно, он пытался пробудить в них интерес. Но книги уже не вызывали того энтузиазма, как в былые дни. Мистер Фишер помнил времена — причем не столь давние, — когда книги

были золотом, когда воображение парило в небесах, когда мир был наполнен историями: они мчались, как газели, бросались, как тигры, взрывались, как шутихи, освещая умы и сердца. Он сам был тому свидетелем; видел, как лихорадка захватывала целые классы. То были дни героев, драконов и динозавров, космических приключений, авантюристов и гигантских обезьян. В те дни, думал мистер Фишер, нам снились цветные сны, хотя кино было черно-белое, добро всегда побеждало и никто, кроме американцев, не говорил по-американски.

А теперь все стало черно-белым, и, хотя мистер Фишер продолжал преподавать, столь же верный долгу, как и сорок лет назад, он втайне осознавал, что нынче ему недостает убежденности в голосе. Этим мальчикам, угрюмым, с уложенными гелем прическами и идеальными зубами, все было скучно. Шекспир был скучен. Диккенс был скучен. Кажется, на свете не осталось истории, которой они не слышали бы раньше. И как ни противился мистер Фишер, когда-то сам так страстно мечтавший стать писателем, после многих лет его начала одолевать апатия, ужасное осознание своего поражения. Он понял, что пласт выработан. Книги, которые можно было бы написать, кончились. Магия выдохлась.

Это была нехарактерно пессимистичная мысль. Мистер Фишер оттолкнул ее от себя и зашарил в портфеле в поисках утешительного печенья в шоколадной глазури. Не все мальчики страдают отсутствием воображения. Взять, например, Алистера Тиббета; ничего страшного, что он делает часть домашних заданий в автобусе. Дружелюбный мальчик, еще более приятный в общении из-за лежащего на нем неопределенного отпечатка неряшливости и какого-то отсутствующего выражения лица. Отнюдь не отличник, но все же в нем есть искра, стоящая внимания.

Мистер Фишер набрал в грудь воздуха и посмотрел на тетрадь Тиббета, стараясь не думать про идущий на улице снег и пятичасовой автобус, который он теперь почти наверняка пропустит. Еще четыре тетради, сказал он себе, потом домой: ужин, постель — утешительная рутина обычных зимних выходных. И так случилось, что мистер Фишер выпил последний глоток остывшего чая и принялся читать последний рассказ на свете.

То, что это — последний рассказ, до него дошло лишь через несколько минут. Постепенно, сидя в натопленном классе, обоняя запах мела и воска для полировки полов, мистер Фишер начал испытывать очень странные ощущения. Сначала у него что-то сжалось под ложечкой, словно заработал давно бездействовавший мускул. Дыхание участилось, прекратилось совсем, возобновилось и снова участилось. Он вспотел. Дойдя до конца

рассказа, мистер Фишер отложил красную ручку и вернулся к началу, очень медленно, внимательно перечитывая каждое слово.

Должно быть, так чувствует себя золотоискатель, отчаявшийся, разоренный, готовый сдаться, когда вытряхивает из ботинка самородок размером с кулак. Мистер Фишер снова перечитал рассказ, на сей раз критически, отчеркивая абзацы красным карандашом. Надежда, которую он сначала не смел сформулировать словами, набухла и крепла в нем. Он обнаружил, что улыбается.

Если бы в этот момент кто-нибудь спросил, про что, собственно, рассказ Тиббета, мистер Фишер затруднился бы ответить. Там были узнаваемые темы — смутно знакомые элементы сюжета: приключение, поиск, ребенок, мужчина. Но передавать таким образом рассказ Тиббета было столь же бессмысленно, как описывать любимое лицо через словесный портрет. Это было нечто новое. Нечто совершенно оригинальное.

За сорок лет преподавания английского мистер Фишер уверился, что в литературе ничего нового нет. Вновь и вновь повторяются одни и те же сюжеты: трагическая любовь, поиск, плутовство, месть, спаситель, взросление, борьба добра со злом. Большая часть этих сюжетов была заезжена еще до Шекспира; даже в Библии относительно мало нового. Там сменились костюмы, тут декорации; истории не умирают, они лишь возрождаются с каждым поколением, в ином времени, с иными идиомами. Именно это убеждение много лет назад положило конец устремлениям самого мистера Фишера — гневная уверенность в том, что все написанное им будет, даже в лучшем случае, лишь бледной тенью чего-то другого.

Но перед ним лежало опровержение этой теории. Тиббетов рассказ стоял особняком. Совершенно оригинальный замысел — возможно, впервые за сто лет, — Грааль литературы, последний рассказ на свете.

Тут мистеру Фишеру пришло в голову, что очень много кто заинтересуется таким рассказом. Например, Голливуд — они вечно в поисках нового материала и нынче не брезгают рыться даже в комиксах и компьютерных играх. Книгоиздатели, газеты, журналы. Новая идея может породить династию, поколения родственных историй. Зарегистрировав авторское право на такую идею, обретишь не просто известность, не просто богатство. Обретишь бессмертие.

Мистер Фишер еще раз представил себе Алистера Тиббета. Дружелюбный мальчик без особых талантов. Волосы длинноваты, рубашка не заправлена, вечно опаздывает на уроки. Не стилист — чудовищные

ошибки в правописании — и, конечно, не сможет как следует подать себя прессе. Обидно. Тиббет вряд ли в состоянии оценить всю значимость открытия; даже по почерку сразу понятно, что голова у него во время написания рассказа была где-то совершенно в другом месте. Мистеру Фишеру было ясно, что роль Тиббета вторична — он, если хотите, слабоумный гений, который может случайно открыть математический принцип, но совершенно не способен объяснить его действие. Нет, если оставить рассказ Тиббету, он пропадет совершенно зря. И потом, кто учитель Тиббета? Кто научил его всему, что он знает? Сорок лет упорного труда заслуживают награды; и вот наконец эта награда нашла его через Тиббета.

За все годы преподавания мистер Фишер так и не забыл своих когдатюшних скромных мечтаний. С годами он пришел к мысли — как выяснилось, ошибочной, — что для писательства ему недостает таланта и вдохновения. Теперь он понял, что его просто сковывали страх и неуверенность. Теперь он наконец знал, что хочет сказать и как ему оставить след в мире. Он начал понимать, как можно разработать этот сюжет — в объеме примерно трехсот страниц, в виде романа. А разработка очень важна: без нее любой сюжет, каким бы вдохновенным он ни был, остается лишь несбывшейся мечтой. В конце концов, и Шекспир черпал сюжеты у Боккаччо.

Мистер Фишер прикинул, что к концу воскресенья набросает сюжет, в понедельник уже разошлет по почте. Конечно, придется принять меры предосторожности: положить в банк подписанную заявку, чтобы сохранить за собой авторское право. Среди издателей очень много нечистоплотной публики, а среди кинематографистов еще больше. Если повезет, к Рождеству он уже начнет получать предложения.

А Тиббет? В своем волнении мистер Фишер почти забыл про мальчика. Ему ведь тоже что-то причитается? Разумеется, объявлять его автором сюжета нельзя ни в коем случае. По нынешним сутяжническим временам это значило бы просто напрашиваться на неприятности. Мистер Фишер на некоторое время тяжело задумался. Потом взял свой красный карандаш и аккуратно написал под сочинением: «Содержание хорошее; форма требует доработки. 5—». Это справедливо, подумал мистер Фишер; средняя по классу оценка редко поднималась выше четверки с минусом.

Двадцать пять минут шестого. Слышно, как уборщики собирают ведра и швабры. Следующий автобус в полшестого: если постараться, можно успеть. Оставив стопку тетрадей третьеклассников на углу стола — кроме Тиббетовой, которую он сунул в портфель рядом с пачкой печенья, —

мистер Фишер ополоснул кружку под краном, запер стол и надел пальто.

Снег все еще шел. Снежинки хаотически валились с неба, подобные белому шуму. Мистер Фишер с портфелем в руке пробивал себе путь к автобусной остановке. Было очень холодно. Он понял, что в спешке оставил шарф и перчатки в столе; но была уже почти половина шестого, и он решил не возвращаться. Ему не хотелось пропустить автобус.

Машин на дороге было мало, и серая каша уже начала поглощать бордюр тротуара. Автобус опаздывал. Мистер Фишер ждал в изуродованной хулиганами остановке, грел дыханием руки и думал о своей книге. Сердце билось опасно быстро, но он ощущал странный прилив энергии. Словно ему снова тринадцать: пальцы в чернилах, металлический привкус юности во рту и уверенность, что в один прекрасный день он тоже достигнет величия, тоже прославится...

Окна школы гасли одно за другим. Без десяти шесть, автобуса все нет. Мистер Фишер решил идти пешком. В конце концов, до города всего мили две и по дороге он сможет хорошенько обдумать свою книгу.

Он сказал себе, что отнюдь не стоит бросаться на первое же предложение. Лучше подождать пару месяцев, пусть издатели перебивают друг у друга цену. К счастью, он немного разбирается в издательской кухне. Опыт пойдет ему на пользу.

Мистер Фишер быстро шагал по дороге, улыбаясь про себя, затерявшись в теплом облаке фантазии. Через некоторое время он понял, что проголодался; он вспомнил про печенье и полез в портфель.

Печенья не было. Мистер Фишер нахмурился. Может, оно осталось в столе? Нет, он помнил, как взял одну штучку и положил пакет обратно в портфель. Он подошел поближе к уличному фонарю и опять заглянул в портфель. Печенья не было, и теперь, в оранжевом свете, он понял почему. Дырка в углу портфеля разошлась на всю длину шва, а мистер Фишер, поглощенный мыслями о книге, этого не заметил. Мистер Фишер рассердился. Он терпеть не мог терять вещи. По правде сказать, он рассердился так сильно, что лишь через несколько секунд сообразил проверить, на месте ли тетрадь Тиббета.

Тетради не было. Внезапно едкий пот защипал мистеру Фишеру глаза. Тетрадь! Он еще раз на всякий случай провел трясущейся рукой вдоль разодранного шва. Вот классный журнал в твердом переплете и пластиковая папка — слишком велики, чтобы пролезть в дыру. Пенал тоже на месте. Но рассказ, последний рассказ на свете, пропал. Мистер Фишер запаниковал. Он, должно быть, уронил тетрадь где-то по дороге. Но где? Он уже отошел от школы больше чем на милю; тетрадь могла быть где

угодно между ним и школой. Но делать нечего; надо идти обратно и посмотреть под ноги, пока тетрадь не найдется.

Тяжело дыша, он повернул назад. Но быстро идти не получалось: встречный ветер перехватывал дыхание, а снег был словно каменная крошка. Гораздо хуже было другое: мистер Фишер понял, что рассказ не так уж хорошо запечатлелся у него в памяти; хотя он помнил отдельные части — поиск, мальчик, мужчина, — лучше всего ему запомнились орфографические ошибки Тиббета и то, что он дописывал сочинение в автобусе.

Обочина дороги была уже совершенно белой, и школа едва виднелась темным пятном в снежной круговерти. Мистер Фишер шел по собственным следам, пока не дошел до места, где они исчезли под снегом, но ничего не нашел. На остановке тоже ничего не было. Мистер Фишер даже дошел по дорожке до школьных ворот, но и там не было никаких следов пропавшей тетради.

Когда полицейские нашли его в восемь вечера, он голыми руками рылся в сугробе, наметенном у обочины, и что-то лихорадочно бормотал про себя. Глаза его были дикими, лицо — обветренным и красным. Хорошо, что мы нашли его, сказал сержант Мерль дежурному офицеру, иначе бедный старикан концы бы отдал. Отвезли его прямо в больницу. Оказалось, он искал чью-то тетрадку с домашним заданием, уронил по дороге. Вот что значит чувство долга. Учителям не платят и половины того, что следовало бы, вот что я вам скажу. Но все-таки надо отдать должное старикану, он копал как бешеный. Можно подумать, там золото лежало.

ВЫПУСК ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОГО

Этот рассказ был первоначально написан для сборника в пользу инициативы «Magic Million» — сбора средств для помощи семьям с одним родителем. Предполагалось, что рассказ будет про магию, но получилось скорее про то, что бывает, когда магия кончается...

В классе выпуска восемьдесят первого года нас было двенадцать человек. Вот мы все на фотографии, как обычно, справа налево: Ханна Чернокот, Клэр Эльф, Анна Вещая, Джейн Баньши, Глория Карга, Изабелла Фей. В нижнем ряду: я, невероятно молодая, потом Морвенна Ведун, Юдифь Каббал, Каролина Метла, Деззи Русалья — она в очках с толстенными, словно доньшки бутылок, стеклами, и рыжие космы беспорядочно спадают на воротник форменного платья. Крайний слева — Пол Привид, по кличке Белый, вечный первый ученик и единственный мальчик в классе. С ведьмовством всегда так: девочек с самого начала больше, чем мальчиков, хотя высокие должности с большой зарплатой, кажется, все достаются мужчинам. Интересно, относится ли это к Полу Привиду, и если да, то женился он уже или пока холост.

Мне было не по себе. Мы дали друг другу обещание двадцать лет назад — невообразимая пропасть времени для нас восемнадцатилетних. За это время до меня доносились слухи, пару раз попадались заметки в газетах, но, помимо этого, я мало общалась с бывшими одноклассниками, кроме разве что открыток на Купалу или Солнцеворот. Телеграф джунглей докладывал, что Каролина вступила в ковен где-то в Уэльсе, Ханна замужем за астральным целителем из Милтон-Кинса, Изабелла работает в Сити каким-то консультантом. Ничего из ряда вон выходящего. Но сплетни из вторых рук не доносили главного: кто растолстел, кто утратил магическую силу (или, наоборот, связался с Хаосом), кто сделал себе тело и потом врал, отрицая это.

Конечно, за исключением Деззи. Кто же не знает Дезире Русалью? Ее имя практически стало брендом — ее лицо уже пятнадцать лет смотрит на нас со страниц желтой прессы, с афишных стендов, с телеэкранов. Она поставляла привороты членам королевской семьи и голливудским звездам. Мы знали о ее романах и разводах, завидовали ее платьям и дивились ее утончающейся талии.

Я нахмурилась, вспомнив о собственной талии. Даже в школе я

никогда не была худой в отличие от Анны, Деззи или Глории. Я тщетно отказывалась от сладкого — несмотря на все усилия, достичь худобы мне было не суждено. Через двадцать лет ситуация не изменилась. Интересно, сердито подумала я, чья же это была дурацкая идея — отметить двадцать лет выпуска в ресторане «Белла Паста».

Я пришла слишком рано. Приглашение на половину первого, а сейчас едва десять минут. Я немного поторчала в дверях, на сквозняке, пытаюсь изобразить лоск и уверенность в себе, но входящие все время проталкивались мимо меня, и я решилась наконец сесть за самый дальний стол, где стояла табличка «Стол заказан» и лежали карточки с именами. Две девушки хихикнули, когда я протиснулась мимо них, и я почувствовала, что краснею. Я же не виновата, что проход такой узкий. Для безопасности я вцепилась в сумочку, задела бедром вазу с цветами и чуть не опрокинула ее. Девушки опять захихикали. Я поняла, что мне предстоит кошмар.

Я нашла свое место (фамилия была написана с ошибкой). На столе уже стояли четыре бутылки вина и четыре — минеральной воды. Я налила себе стакан красного и тут же выпила, потом отодвинула бутылку на противоположный край стола, надеясь, что никто не заметит. Если подумать, это как раз из тех мелочей, которые вредина Глория Карга обожает замечать — и привлекать к ним всеобщее внимание. Я вернула бутылку на прежнее место.

Двадцать лет. Уму непостижимо. Я снова посмотрела на фото. Вот я — в черной школьной форме, гордо сжимаю в руке свою первую метлу. Конечно, в наши дни метла — по большей части лишь символ. Ни одна взрослая ведьма не вздумает тратить энергию «ци» на полеты метлой. Какой смысл, если в бизнес-классе гораздо удобнее? Я, правда, бизнес-классом все равно не летаю. Алекс говорит, это выброшенные деньги. Он даже посчитал это однажды: на стоимость билета в бизнес-класс можно купить три билета в эконом-класс, полбутылки шампанского, два сэндвича в фастфуде, индийскую шаль, парфюмерный набор, и еще останется. Правда, он все равно ничего из этого никогда не покупает. Это, по его мнению, тоже выброшенные деньги. Если вдуматься, последний раз мы летали в 1994 году, по дешевой путевке в Алгарве, и Алекс всю дорогу жаловался, что я занимаю слишком много места. Может, метлой все-таки было бы лучше.

Я налила себе еще бокал вина. Ведь на самом деле ты вполне довольна жизнью, сказала я себе. Зачем магия, если есть уверенность в завтрашнем дне? Тридцать восемь лет; домохозяйка; замужем за организационным консультантом; домик в южной части Лондона; два сына, пятнадцати и

двенадцати лет, и фамилляр (по старой памяти). Безумно счастлива. Ну, может, и не так уж безумно, но, во всяком случае, счастлива. По крайней мере, иногда.

Ну вот, теперь кажется, что я выпила три четверти бутылки. На самом деле, конечно, гораздо меньше; просто бутылки так устроены — сверху горлышко узкое, и стоит налить хоть маленький стаканчик, как уже кажется, что половины не хватает. Теперь, когда придут остальные, они все заметят. Глория Карга посмотрит миндалевидными синими глазами и что-то шепнет, прикрыв рот ладонью, Изабелле Фей — в школе они всегда были лучшими подружками, — а потом они обе примутся разглядывать меня, как сиамские кошки, чуть не мурлыча от злорадного разгула фантазии («Дорогая, ты думаешь, она пьет? Какой ужас!»).

Так что я избавилась от улик, спрятав бутылку под стулом подальше от своего места. И как раз вовремя: высунувшись из-под скатерти, я заметила женщину — ведьму, — которая пробиралась ко мне, и меня охватила колючая паника. Уже вставая, торопливо вытирая рот тыльной стороной ладони, я узнала Анну Вещую.

Она не изменилась. Высокая, элегантная, светловолосая, в черном брючном костюме, под которым, как мне показалось, совершенно ничего не было. Я ее никогда не любила — она входила в троицу спортсменок, благовоспитанных и милых ведьмочек. Еще мгновение — и появились остальные две, Морвенна Ведун и Клэр Эльф, тоже элегантно одетые в черное. В приступе злорадства я тут же отметила про себя, что Морвенна начала красить волосы, потом с разочарованием обнаружила, что ей это идет.

— Дорогая, — произнесла Анна. — Ты совсем не изменилась.

Ни на волосок не сместив сияющей улыбки, она скосила глаза на лежащую передо мной карточку. Я пробормотала что-то невнятное насчет того, как хорошо она выглядит, и опять села.

— Ты же понимаешь, милочка, приходится за собой следить, — сказала Анна, наливая себе минеральной воды. — Нам ведь уже не восемнадцать, верно?

Начали прибывать остальные. В вихре объятий и восклицаний показались Глория с Изабеллой, еще больше, чем всегда, похожие на сиамских кошек, с одинаковыми блондинистыми стрижками и сонными глазами, и Каролина Метла, которую я приветствовала с теплотой, никогда не наблюдавшейся между нами в школьные годы.

— Каролина, слава богу, — воскликнула я. — Я уж думала, я тут одна буду не в черном.

Каролина в школе была прилежной ученицей — пухленькая, с прямыми жидковатыми волосами, серьезная, больше интересовалась травами, чем пиротехникой, и при игре в метелки ее всегда выбирали последней. Она сильно похудела, на ней была длинная фиолетовая бархатная юбка и огромное количество серебра, волосы заплетены в косы и уложены кольцами. Я вспомнила про слух, что Каролина присоединилась к какому-то радикальному ковену в Уэльсе, и мне внезапно стало не по себе. Надеюсь, она не собирается весь обед рассказывать нам про пентакли, атхамы и пляски в голом виде. У меня слегка упало сердце, когда я заметила ее карточку рядом с собой.

— Твоя аура в совершенно ужасном состоянии, — сказала Каролина, садясь рядом и наливая себе воды. — Ох! Газированная! Официантка! Принесите, пожалуйста, натуральной воды, и я должна поговорить с вами насчет меню.

Официантка, замотанная девушка с прической «конский хвостик», подошла неохотно (я могла ее понять). Громкий невыразительный голос Каролины отчетливо разносился по залу.

— Похоже, у вас нет меню для вегетарианцев, — обвиняюще сказала она.

Ох. Я виновато покосилась на меню. Я-то собиралась заказать отбивную.

— Ну, можете взять омлет с грибами или фузилли... — начала официантка.

— Я не ем яиц, — отрезала Каролина, — и вы бы не ели, если бы знали, что они делают с кармой. Что же касается фузилли...

Она склонилась к меню. Глаза, увеличенные линзами очков, были похожи на два зеленых стеклянных шарика.

— Это из пшеничной муки? Я не ем макаронных изделий из пшеничной муки, — объяснила она мне, когда сердитая официантка удалилась беседовать с поваром. — В ней слишком много «инь» для моей конституции. От избытка «инь» аура мутнеет. Думаю, мне лучше всего ограничиться обычной свежей, нефторированной водой и органическим зеленым салатом.

Я, довольно сильно расстроенная, отодвинула меню. Моя отбивная с жареной картошкой, похоже, накрывалась медным тазом. К счастью, тут явились новые ведьмы, и я приветствовала их с плохо скрываемым облегчением. Ханна Чернокот мне всегда нравилась; а вот и Джейн Баньши, в твидовой юбке и жакете, какая-то резкая и мужеподобная.

— Привет, подруга, давно не виделись! — воскликнула она, окатив

меня на миг запахом шерсти и нафталина. — А где бухло?

Она плюхнулась на стул рядом со мной (там лежала карточка Юдифь Каббал) и щедро плеснула себе красного вина, не обратив внимания, что Каролина неодобрительно пискнула.

— Сколько лет, а?! Помнишь, как прикольно было?

Теперь, с появлением Джейн, я начала припоминать: как мы пировали ночью в спальне, нарисовав на двери магический знак, чтобы предупредил нас о приближении заведующей; как гоняли на метлах по верхнему коридору; как стащили у профессора ЛеМага порнографические карты таро и гадали, у кого какой фетиш... Впервые мне начало казаться, что в идее встречи выпускников что-то есть.

Явилась Юдифь Каббал, бесцветная ведьма с плохой кожей. В школе она была еще менее популярна, чем Каролина, а сейчас выглядела гораздо старше всех остальных. Она ничего не сказала, увидев, что Джейн заняла ее место.

— Ой, вон страхолюдина Каббал, — шепнула Глория Изабелле. — Быстро придвинь стул, а то она сюда сядет.

Юдифь наверняка слышала, но промолчала. Она пробралась к свободному месту рядом с Ханной и тихо села, сложив руки на коленях. Мне было ее жалко, хотя мы никогда особенно не дружили. Непонятно, зачем она сегодня пришла.

Без четверти час нас было только десять. Джейн выпила еще три бокала красного, Ханна учила меня отделять астральную руку от телесной, Изабелла и Клэр Эльф обсуждали людей, делающих тело («Дорогая, это уже больше не черная магия, абсолютно все это делают, считается совершенно нормальным»), Глория и Морвенна сравнивали привороты, Анна гадала по винной гуще из стакана Джейн, Каролина ругалась с поваром («Послушайте, представьте себя на месте этого помидора»), а Юдифь только что обнаружила у себя под стулом полупустую бутылку красного вина, — но тут все умолкли, и, полностью осознавая производимый ею эффект, явилась Деззи Русалья.

Я помнила ее малявкой, бледненькой, тощенькой, с копной рыжих волос, в некрасивых очках с толстой черной оправой. Ныне очки исчезли, открыв огромные глаза с ресницами, подобными крыльям бабочек; волосы — искусно гладкие, грациозная фигура едва прикрыта облегающим черным джерси, и все это удерживается на невероятно высоких алых каблуках. Все внимание обратилось на нее; другие посетители ресторана пялились, открыв рты; Деззи делала вид, что не обращает внимания. Я услышала, как на той стороне стола Глория шепнула Изабелле: «Тело сделано». Краем

глаза я видела, что Каролина сложила пальцы в защитный знак; даже у Джейн отвисла челюсть. Деззи, словно не подозревая, что привлекла столько внимания, походкой манекенщицы на подиуме подошла к нашему столу и элегантно поместила себя на стул рядом с Юдифью.

— Простите пожалуйста, я опоздала, — мило извинилась она. — У меня была встреча с очень важным клиентом, у которого ужасные проблемы с прессой.

— Кто это? — спросила Глория, сделав круглые глаза.

— Я не имею права говорить. Это очень конфиденциальная информация, — мурлыкнула Деззи. — Больше ничего не могу сказать. Надеюсь, вы меня поймете.

Она обвела взглядом стол.

— Кажется, кого-то не хватает?

Все стали оглядываться.

— Пола Привиды нет, — сказала наконец Анна. — Я и забыла про него.

И неудивительно, подумала я: Пол блестяще учился, был полностью поглощен занятиями и держался подальше от наших девичьих забав. Все считали, что с его стороны это уловка, чтобы заинтриговать и соблазнить нас, но, как мы ни пытались, очаровать его не удалось. Я думаю, он был по-настоящему честолюбив; не мог допустить, чтобы девушки мешали учебе. Скорее всего, он и не придет сегодня.

— Уже почти час, — сказала Деззи. — Раз он до сих пор не пришел, я думаю, можно заказывать. У меня назначена встреча в четверть третьего.

Каролина сказала, что обед как таковой не должен занимать больше получаса, Юдифь не сказала ничего, а все остальные согласились не ждать Пола Привиды.

Так что мы сделали заказ. Каролина получила особо приготовленный салат из кармически нейтральных овощей («В корнеплодах вообще слишком много „ян“, а у редисок есть душа»); Глория и Изабелла заказали суп с чаабаттой; Ханна — тальятелле с морепродуктами; Клэр, Морвенна и Анна — фузилли; Джейн — отбивную, слабо прожаренную, с двойной порцией жареной картошки; я завидовала, жалея, что у меня не хватило смелости на то же самое, и под пронизывающим взглядом Каролины Метлы наконец выдавила из себя заказ на вегетарианскую пиццу, хоть и потенциально опасную («От избытка углеводов чакры разбалансируются»), но по крайней мере безвредную для кармы.

Десерт заказала только Джейн. Анна, Глория и Изабелла, кажется, сидели на вечной диете; Деззи все время глядела на часы; а остальные,

думаю, наслушались неодобрительных комментариев Каролины. Вместо десерта мы болтали. Кто-то (кажется, Деззи) позаботился о том, чтобы вино не кончалось (к большому удивлению официантки), и языки, поначалу скованные, развязались. Может, даже чересчур развязались — наступил момент, которого я больше всего боялась: вопросы, похвальба, вранье. Сначала разговор вела Деззи — она рассказывала занятные случаи из колдовской журналистики, но скоро инициативу перехватила Анна, специалист по очистке домов и изгнанию злых духов («Фэншуй — это из прошлого тысячелетия, дорогая, сейчас писк моды — шаманство»); потом Изабелла, которая работает с пирамидами; Клэр, которая исцеляет с помощью хрустального шара и замужем за одиноким, владельцем двух воронов-фамильяров и волка; Глория, которая развелась уже в третий раз и сейчас преподает курс тантрического секса и медитации в Уорикском университете; даже Ханна, которая (тут все, кроме меня, выразили глубочайшее возмущение) бросила работу, чтобы посвятить себя мужу и явно обожаемой ею дочке, очаровательной будущей ведьмочке, в четыре года уже подающей надежды.

— А ты что все молчишь? — заметила наблюдавшая за мной Каролина. — Ты-то чем занимаешься? Расскажи-ка про свои достижения.

Этого момента я и боялась. Рассказать про Алекса и мальчиков было довольно просто (хоть и нелестно для меня), но если она как-то догадается про главный секрет, про ужасное, невыразимое... Я сказала что-то банальное насчет того, что в материнские заботы уходишь с головой, и подумала: хорошо бы Каролина доставала своими расспросами кого-нибудь другого. Но она присосалась как пиявка.

— У тебя очень мутная аура, — не отступала она. — Неужели ты подзапустила свой дар, а?

Я пробормотала, что в последнее время немного не в форме.

— Очень плохо, — сказала Каролина. — Может, попробуем поупражняться? Как насчет простенького заклинания?

— Наверное, лучше не надо, — в ужасе сказала я.

Если б только она говорила потише!

— Ну же, — настаивала Каролина. — Ну хоть маленькое. Никто не будет над тобой смеяться, клянусь Богиней.

Теперь уже все смотрели на меня. Прищуренные глаза Глории сияли.

— Ну правда, Каролина, — слабо сказала я.

— Но маленькое-то ты можешь! — Деззире радостно вступила в игру. — Может, полевитируешь? Или сотворишь что-нибудь?

Очень смешно. Если б я могла что-нибудь сотворить после всех этих

лет, сотворила бы яму побольше, чтоб было где спрятаться.

— Ну хорошо, — сказала она, взяла подсвечник из композиции в центре стола и подтолкнула его ко мне. — Зажги эту свечу. Проще не бывает. Все равно что летать на метле. Раз научишься, никогда не забудешь.

Ей легко говорить. Я и раньше-то не очень умела летать на метлах, даже когда все время тренировалась. Я чувствовала, что на лбу выступил пот.

— Ну же, — сказала Деззи. — Покажи нам. Зажги свечу.

— Зажги! Зажги! — начали скандировать остальные, и я затряслась.

Сейчас все узнают ужасную тайну, признаться в которой невыносимо для любой ведьмы. Это все Алекс виноват, думала я, беря подсвечник и устремляя пристальный взгляд на холодный фитиль. Выйти замуж за неведьмака — все равно что за некурящего: ежедневное столкновение интересов. В конце концов кто-то должен уступить. И уступала я: ради нашего брака и детей. Даже мой фамильяр — черный кот по имени Мистер Тиббс — принадлежит скорее мальчикам (у них на двоих не найдется ни одной искорки магии, они интересуются только футболом да кибердевочками) и о волшебстве даже не вспоминает, а все больше линяет на ковры да гоняет мышей. Но все равно, отчаянно думала я, чувствуя, как глаза начинают слезиться от напряжения, хоть что-то да должно было остаться, крупица магии, которую можно пустить в дело. Я слышала, как Глория шепчется с Изабеллой; краем глаза видела, как Деззи смотрит на меня, жадно и весело, словно Мистер Тиббс у мышинной норки.

— Дорогая, по-моему, она не может.

— Ты шутишь...

— Она потеряла...

— Шшш...

Хоть это простейшее, крохотное заклинание... Я побагровела, подмышки защипало — это я вспотела от нервов. Ни огонька, ни даже искры. Я отчаянно огляделась, надеясь увидеть хоть одно сочувственное лицо, но Ханна была смущена, Юдифь, кажется, почти заснула, а Джейн была слишком занята второй порцией десерта и не обращала внимания на мою немую мольбу. Я смутно представила себе, как выгляжу со стороны: бесполезная тупая корова, не может даже свечку зажечь.

Внезапно у меня из пальцев вылетел сноп пламени, и почти тут же послышался запах гари. Я отдернула голову, и как раз вовремя: с подсвечника струилось пламя; сама свеча почти исчезла в языках синезеленого огня. Через полсекунды свеча слетела с подсвечника и взорвалась под потолком снопом разноцветных искр. Кажется, за другими столиками

никто ничего не заметил — кто-то укрыл наш стол магическим щитом.

Глория, которая сидела, жадно подавшись вперед, отскочила и взвизгнула, забыв о чувстве собственного достоинства. Каролина в изумлении уставилась на почерневший подсвечник.

— А ты сказала, что не в форме! — наконец произнесла она.

Я соображала очень быстро и изо всех сил. Кто-то мне помог, это ясно; кто-то не хотел моего унижения. Я подняла взгляд, но на лицах окружающих увидела только злорадство, любопытство, ярость или удивление. Деззи лихорадочно вычесывала искры из длинных волос. Огарок упал Изабелле в стакан, обрызгав ее вином.

— Ой, блин! — сказала потрясенная Джейн. — Что это было?

Я попыталась улыбнуться.

— Шутка, — едва слышно ответила я.

— Та еще шутка, — проворчала Глория. — Ты мне чуть брови не сожгла.

— Не рассчитала, наверное, — пробормотала я.

С невыразимым облегчением я налила себе вина.

Каролина в кои-то веки промолчала. Я видела, что внушаю ей невольный трепет. Затем какое-то время я уворачивалась от ее вопросов: где я повышала квалификацию, имею ли я духовное посвящение, кто мой наставник? Когда я скромно отказалась отвечать, она спросила:

— Ты, случаем, не влезла во что-нибудь запретное, а?

— Ты про Хаос? Не говори глупостей. — Я чуть не рассмеялась.

Чтобы добиться посвящения в Хаос, нужно долго и тяжело работать, а я и двадцать лет назад не способна была постичь даже основные принципы. Каролина некоторое время подозрительно глядела на меня, потом, к моему облегчению, разговор перешел на другое. Воскресали старые ссоры, вспоминались мелкие шалости, вновь переживались грубоватые шутки. Шум нарастал; временами мне едва слышно было, что говорят на дальнем конце стола. Даже я, подбодрившись от выпитого вина и нежданного чуда взлетевшей свечи, почувствовала себя менее скованно. Может, вино крепче, чем я думала. Или это компания так на меня действует.

Но что именно происходит, я поняла, лишь когда Анна, Морвенна и Деззи принялись яростно ругаться из-за давнишнего критического замечания по поводу формы икр Морвенны, Юдифь явно уснула, Изабелла стала объяснять Джейн тонкости секс-магии, рисуя иллюстрации ручкой на скатерти, а Глория решила продемонстрировать превращение солонки в хомячка. Это не обычное веселье, слегка вышедшее из-под контроля. Кто-

то заколдовал минеральную воду.

— Это просто гадко, — сказала Каролина. Кажется, только на нее вода не подействовала. — Вы беситесь, как банда гоблинов. Я думала, что наша встреча будет соприкосновением умов, что мы обменяемся опытом двадцати лет следования путем Мудрости...

— Ой, заткнись, Карри, — сказала Анна, у которой в результате дискуссии растрепались волосы. — Ты вечно была такая вумная овца. То-то и живешь теперь в деревне с овцами.

— Слушай, — сказала Каролина, резко утратив самодовольство, — мне плевать, что ты три года подряд была капитаном ковена...

— Девочки, девочки, — вмешалась Деззи, — что вы себе позволяете?

— И ты заткнись, — ответила Каролина. — Со своей магической журналистикой. И если хочешь знать, это твое сделанное тело выглядит просто чудовищно...

— Сделанное?! — завизжала разъяренная Деззи. — Чтоб ты знала, у меня тело абсолютно натуральное! Я за собой слежу! Спортом занимаюсь!

— Да ладно, дорогая, — ласково сказала Морвенна. — Ничего такого, не переживай. Теперь многие припасают парочку заклинаний на случай, когда уже не будет той упругости.

— Да на твои толстые икры парочки заклинаний явно не хватит!

Я попыталась вмешаться. Я чувствовала, как электризуется воздух, волосы на руках стали дыбом, кожу покалывало. Накапливалась мощная магия. И быстро. Интересно, что именно добавили в напитки. Зелье правдивости? Или еще что похуже?

— Слушайте... — произнесла я.

Но было уже поздно. Началось. Морвенна вцепилась в волосы Деззи, Деззи протянула руку к Морвенне, и внезапно обеих обвили шипящие струи магии. Ведьмы отскочили друг от друга, словно кошки, которых окатили водой.

— Что ты сделала? — рявкнула Деззи, с которой полностью слетел лоск.

— Ничего! — взвыла Морвенна, тряся онемевшими пальцами. — Это ты что-то сделала!

Я только радовалась, что магический покров нашего стола пока держится. По ту сторону спокойно жевали ничего не подозревающие люди.

— Прикольно, — с удовольствием сказала Джейн, поглощая вторую порцию шоколадного торта. — Совсем как в старые добрые времена.

— Точно, — чуть саркастически произнесла Юдифь Каббал.

Я про нее почти забыла; она, кажется, проспала большую часть ужина

и, насколько я помнила, не произнесла ни слова. Она и двадцать лет назад была такая же: молчаливая, некрасивая ведьмочка, освобожденная от физкультуры по состоянию здоровья; она никогда не получала писем из дома и даже солнцеворотные каникулы проводила в школе. Мне тоже однажды пришлось: мои родители уехали в Новую Зеландию на оккультную конференцию, а я осталась в школе, в ужасном унынии, несмотря на присланный мне сундук подарков. Все мои подруги разъехались на каникулы, только Юдифь осталась. Я знала, что она не ездит домой на Солнцеворот, но никогда об этом не задумывалась. Теперь задумалась. Если бы она была чуть менее неприступна, не так сильно погружена в учебу, мы могли бы, воспользовавшись случаем, стать друзьями. Но я быстро выяснила, что Юдифь сама по себе была такой же скучноватой и немногословной, как Юдифь в толпе. Она не искала моего общества, ей, кажется, нравилось проводить время в одиночестве — в библиотеке, в саду магических трав, в обсерватории. Но все равно, кроме нее, в школе никого не было, если не считать нескольких учителей и их фамилъяров, и как-то вечером я разделила с ней остатки солнцеворотного полена^[24] и бутылку вина из бузины. Я почти забыла про это, вспомнила только сейчас; начались занятия, и все стало как раньше, а следующий год уже был выпускной.

— Юдифь, а ты что делала после школы? — спросила я.

Она пожала плечами.

— Ничего особенного, — ответила она. — Вышла замуж.

Надеюсь, она не заметила, как я удивилась.

— Мой муж — психонавт, — продолжала Юдифь тем же ровным, тихим голосом. — Читает лекции по теории морфического поля и хаосо-эфирной парадигме.

— Правда? — С этими терминами я была знакома только понаслышке; подобные теории выходили далеко за пределы даже самых сложных курсов нашей программы. — А ты?

Юдифь холодно улыбнулась.

— Я стала метаморфисткой. Специалисткой по телам, если хочешь. Делаю тела для тех, кто не озабочен своей кармой.

— О Богиня! — выдохнула Каролина, которая все слышала. — Ты хаосистка!

— Ну должен же кто-то этим заниматься, — ответила Юдифь. — А если людям удобнее платить мне за услуги, чем самим изучать нужные искусства...

— Платить кармой из следующих жизней!

Юдифь пожала плечами.

— Ну и что? — ответила она. — Если Деззи хочет в следующей жизни воплотиться в виде редиски, это ее личное дело.

Теперь уже все смотрели на нас. Деззи побелела.

— Ты всегда меня презирала, — сказала Юдифь тем же бесцветным голосом. — Я всегда была посмешищем всего ковена.

— Юдифь, — беспокойно сказала я.

Мне пришло в голову, что Юдифи с ее теперешней квалификацией ничего не стоит превратить всех собравшихся в тараканов, если ей вдруг захочется. Теперь я поняла, кто помог мне со свечой; у меня вдруг пересохло в горле.

— Никто из вас с тех пор особенно не изменился, — спокойно продолжала Юдифь. — Глория все та же мелкая язва; Деззи — дурочка, обожающая быть в центре внимания; Анна — зазнайка; Каролина — бездарь, липовая ведьма. Ни одна из вас не настоящая...

Каролина взвизгнула было, но тут же притворилась, что это кашель.

Юдифь посмотрела на меня.

— Кроме тебя, — сказала она, чуть заметно улыбаясь. — Я не забыла тот Солнцеворот, когда мы ели пирог в спальне. К счастью, я умею хранить секреты...

Она смотрела на Деззи, но мне казалось, что говорит она со мной.

— ...и не верю в месть.

Произнося эту маленькую речь, она встала, и я впервые заметила, какая она высокая. И еще я удивилась — почему она сначала показалась мне старой; сейчас она выглядела молодой — кожа чистая, почти красавица.

— Ну что ж, — сказала она чуть менее мрачно. — Кажется, я все сказала. За мной сейчас зайдет муж, а я не хочу, чтобы он ждал.

Мы молча смотрели, как она покидает зал; Глория и Изабелла в кои-то веки перестали шептаться, и даже Каролина воздержалась от комментариев. Дождавшись ее ухода, мы помчались к окну. Тогда мы увидели их на мгновение — настоящих ведьму и ведуна, — они шли прочь, держась за руки. Мужчина был высокий, светловолосый; на миг мне показалось, что это Пол Привид, но уверенности никакой не было. Они с Юдифью шли по улице, и я удивлялась, как это люди могут быть такими спокойными и свободными, такими уверенными в себе и в будущем. Я смотрела, как они уходят, а ведьмы вокруг меня одна за другой опускались на стулья, понемногу возобновляя разговор. Мне показалось, что тротуар чуть золотится вслед уходящим, но и этого сказать наверняка я бы не

СМОГЛА.

ПРИВЕТ, ПОКА!

У меня почему-то появилось нездоровое пристрастие к отдельным глянцевым журналам из числа самых пустых и хрупких. Мир, который они рисуют, завораживает. Он зловец, часто вгоняет в депрессию, порой дает повод для кладбищенского юмора. Эта история — вымысел. Пока что.

Меня зовут Анжела К. Не исключено, что вы про меня слышали: я веду колонку светской хроники в журнале «Пока!» Мне двадцать девять лет, я привлекательна, талантлива — у меня впечатляющее резюме, университетский диплом журналиста, сестра-знаменитость, довольно известная в свое время (лицо косметической фирмы «Плювиоз»), идеальная кожа и зубы, которые обошлись мне в пятнадцать тысяч фунтов. О да, и еще — моя карьера кончена. Кончена. Все. *Fini.*^[25] Финита ля комедия.

Все случилось на прошлой неделе, за шампанским и канапе. Сенсационнейшая *Dernière*^[26] сезона — по слухам, бессмертные ожидалась в полном составе, и я была счастлива, что писать про нее досталось именно мне. Вот то, ради чего я стала журналисткой: гламур, путешествия, сплетни и весь захватывающий, пестрый, ослепительный хоровод светской жизни. Я знала, что если справлюсь с этим заданием, будут и другие; подобные мероприятия только вошли в моду, и у журнала «Пока!» были все возможности возглавить направление. Я была идеальной кандидатурой: умная, с хорошими связями, стройная, блондинка, приятна с виду, но не бросаюсь в глаза. На меня можно было положиться — я замечу все, что нужно, задам тон, держась легко и непринужденно, не привлекая к себе внимания. Все должно было пройти на ура. Ничего не могло случиться.

Я очень тщательно продумала одежду. Удобно иметь сестру-манекенщицу: все время крутишься в обществе модельеров и тебе достается куча бесплатных образцов, не говоря уже о модных туалетах сестры, которые она, единожды надев, отдавала мне — правда, это очень болезненно для самолюбия, и к тому же мне приходилось все время оставаться худой, чтобы в них влезать.

Конечно, основной цвет — черный, это даже без вопросов; чуть вишневого — «вишневый — это черный сегодня» — в аксессуарах. Стиль

полностью классический, ничего авангардного или чересчур открытого. Я же иду как репортер.

Церемония была назначена на очень модное время, три часа, и крематорий один из самых пафосных в Лондоне — только что отремонтированный, с интерьером от Конрана, очередь для не-членов клуба на три месяца. Я пришла чуть раньше назначенного, с нетерпением и легкой робостью сжимая в руках роскошное приглашение с черной каймой. Сестра, конечно, в такой ситуации и бровью бы не повела, но у нее был колоссальный опыт. Она была дико общительным человеком — я еще до ворот не дошла, как уже насчитала трех ее бывших любовников, — она знала абсолютно всех.

Пресса, конечно, прибывает первой: за оцеплением уже ждала толпа фотографов и телевизионщиков. Я узнала свою главную соперницу, Эмбер Д. из журнала «К. О.», и Пирса из «Крема»; кто-то узнал меня, и в свете вспыхивающей и трескающей камер я ступила на роскошный черный ковер и протянула свое приглашение охранникам, стоящим у дверей.

Это было как сон. Я всю жизнь жила ради этого момента и в зал вошла словно в транс. В кои-то веки я пришла на пафосно-экслюзивную вечеринку класса «А» по собственному праву, а не как чья-то неуклюжая младшая сестренка! Это было потрясающе. Впервые в жизни сестра не затмевала меня, и на меня смотрели — *мужчины* смотрели — с интересом и восхищением. Я знала, что выгляжу хорошо — последняя диета себя вполне оправдала и я вернулась к шестому размеру, хотя, чтобы влезть в последние одежды сестры, придется сбросить еще пару стоунов.^[27] Волосы гладкие; кожа запудрена до идеально ровной бледности (загар — это позавчерашний день); отполированные ногти (вишневые, конечно) ослепительно сияют. Будь сестра здесь, я знаю, все смотрели бы на нее: не потому, что она уж настолько красивей меня, а из-за этого платья, того мужчины, этой сплетни, того разрыва... Но сейчас, когда ее не было, я сама вошла в сонм бессмертных; я была свободна, я была доступна; гостя-фантазия на фантазийном балу; и я на миг совершенно забылась, скользя по залу в стеклянных башмачках, в поисках своей личной версии *того* мужчины...

Главный банкетный зал был уже переполнен. В баре на дальнем конце зала наливали коктейль «Черный русский» (иронический ретрохит сезона) или лакричный «кир»; официанты разносили блины с белорыбицей, а светские девы из списка «Б», удобно откинувшись в элегантных креслах, отхлебывали минеральную воду, курили черные «Собрание» и обсуждали покойную.

— Не может быть, чтобы так быстро, дорогая, — ты же знаешь, какая очередь желающих...

— Отчего? Кто-нибудь знает?

— Я слышала, пищевое расстройство...

— Не может быть! Она голодала или блевала?

— Кажется, официального спонсора нет... жалко, а то Тим собирает памятные значки. У него уже есть СПИД, инфаркт, рак груди и теракт...

— Да, но во всем есть свои светлые стороны: она всю жизнь мечтала дойти до нулевого размера и в конце концов дошла...

Я с усилием оторвалась от этой завораживающей беседы, напомнив себе, что я профессионал и пришла сюда работать. Я вытащила блокнот (от Смитсона, черный, в крокодиловой коже) и принялась делать наброски.

«На главных похоронах лета доминирует черный, в основном от „Прады“ и „Гоуста“. Шестьсот человек собрались на тусовку в крематорий „Черный куб“. Очаровательные дебютантки Люси и Севастополь Риц-Карлтон распили кувшинчик „Черного русского“ на пару с кумиром малолеток Джерри Голенцем; показалась Никки Х. и исчезла; дуэт концептуалистов Гранди и Небб блистал в парных вишневых костюмах...»

Фото- и кинематографический шум на улице усилился — прибыла новая партия знаменитостей.

«Наш репортер заметил Руперта, которому потрясающе идет вариация на тему классического вечернего пиджака, Найлза и Петровку в костюмах от Армани, экстравагантную Пигги Лалик, одетую с ног до головы от Вивьен Вествуд, и писателя Салмана Рушди под руку с неизвестной дамой в ультра-кэжуал от Готье — футболке из его новой коллекции „Интеллидженция“...»

Я словно оказалась в романе модного ныне направления «гроб и грог» — вы наверняка читали такие. Смерть — это новая еда: мы любим про нее читать, главное, чтобы самим не пришлось все это проделывать. И конечно, мы все были в диком восторге от Хью Гранта и Рене Зельвегер в ремейке классического фильма «Не тот ящик»...^[28] И все равно, все было еще чудеснее, чем я ожидала. Столько знаменитостей кругом... а ведь главный кортеж еще даже не прибыл! Я взяла еще один блин — они были очень вкусные — и стала писать дальше.

«Шеф-повар мирового класса Армандо Пигаль покори нас остроумными тематическими закусками, символизирующими „больпотери“ и „память“: воздушное розмариновое суфле, блины с

белорыбицей, индиговые суши, *pasta negra*^[29] и прустовские мадленки с соусом из лепестков лайма...»

Еще одна волна возбуждения докатилась с улицы, разбиваясь о черные занавеси окон, и я поняла: кортеж близится. Все подались к дверям — смотреть; засверкали фотовспышки, а я с блокнотом залезла на мраморный стол у окна, чтобы лучше видеть происходящее.

«Несмотря на прогнозы скептиков, головные уборы остались важной частью туалета собравшихся — как обычно, тенденцию возглавили Филип и Козмо. Девиз нынешнего сезона — „чем меньше, тем лучше“, и воплощением этого девиза стали маленькие шляпки из новой коллекции „Кончина“. Наш репортер заметил Изабеллу, скрытую под величественной „Memento Mori“ из кашемира, с аксессуарами из настоящей кости, а Хелена явилась в забавной винтажной шляпке от „Города скорби“».

Кроме шляп, мне почти ничего не было видно; я пятнадцать минут вытягивала шею, пока гроб заносили за ширму, оберегая эксклюзивное право «Ньюз оф зе уорлд»^[30] на фотосъемку, а вышибалы оттесняли остальных фотографов. Потом кортеж подался задним ходом на сто ярдов, чтобы кинокамеры с пятьдесят пятого канала могли снять процессию с обеих сторон. Все быстренько подновили макияж для съемок крупным планом, и началось фотографирование знаменитостей.

«Гробы нового поколения — обтекаемые, модерновые, жутко сексуальные. Покойная выбрала экстравагантную открытую модель от Луи Вуитона, вишневою (вишневый цвет — бестселлер сезона), цветы от „Диких сердец“ и живую музыку от самых хитовых групп — „Труп“ и „Сплин“...»

По толпе прошел стон. Все знают, что настоящие бессмертные всегда являются чуть позже основного кортежа — в толпе непременно оказываются один-два режиссера, ведающие подбором актерского состава, и никогда не помешает пролить пару слез, хотя некоторые, перестаравшись, выставляют себя в дурацком свете. Я слышала, что именно поэтому все надгробные речи теперь должны длиться не более двух минут (все помнят прошлогодний шестиминутный позор Тоци Макналти на панихиде Саачи) и техникам — осветителям и звуковикам — дан строжайший приказ следить за соблюдением регламента.

Гости будут идти по черному ковру еще час, не меньше. На таких мероприятиях съемки крупным планом обязательны, и кинозвезды не прочь сказать друг другу колкость, когда фотографы толпой несутся прочь

при появлении более интересного гостя. Так что я взяла еще один коктейль и стала глядеть из окна на вереницу звезд.

«Dernière с участием знаменитостей дает восхитительный простор для полета фантазии модельера. Присутствующие были в авангардных туалетах от Александра Маккуина, Гальяно и Жана-Поля Готье; в забавных траурных секси-платьях от „Было бы смешно“ и базовых вещах из новой стильной коллекции Трейси Эмин».

У двери послышалась какая-то возня: два человека попытались войти без приглашений, но охрана их сразу засекла. Я мельком увидела нарушителей: пожилая пара, без шляп, слишком старые для избранного ими простоватого стиля одежды — такая кофта и жемчуга теряют свою ироническую старомодность на женщине старше двадцати одного года, а черный цвет позволителен только при идеальном цвете лица и обязательно с оттеняющими аксессуарами; они стояли, растерянные и сердитые, следом за ничем не примечательной старлеткой в шифоновой «лапше» и на головокружительных каблуках. До меня донесся голос охранника — он, держа в каждой руке по сотовому телефону, объяснял, что допуск осуществляется только по удостоверениям личности и официальным приглашениям. Охрана подобных мероприятий была значительно усилена после того, как в гробу одного из второстепенных членов королевской семьи обнаружилось четыре «зайца»-зеваки. Старуха в слезах кивнула, цепляясь за руку старика, и они сошли с ковра — засверкали вспышки — за оцепление, туда, где толпились не допущенные на мероприятие зрители.

«Наш репортер может подтвердить, что охранные меры для обеспечения безопасности предприятия были достаточно жесткими, и вполне понятно почему. Даже покойную подвергли обыску...» И отлично, подумала я. Дело публики — стоять за оцеплением и пялиться, разинув рот, на проплывающих мимо бессмертных. Ей это и нужно: гламур, отблеск иной жизни, мечта. Похоронная индустрия очень быстро сориентировалась на новом рынке, предлагая потребителям дешевые версии навороченных гробов со страниц «Рэтлера» и «Крема». Согласно недавнему опросу журнала «Пока!», читатели, больше других уделяющие внимание моде, уже встали в очередь на актуальные гробы (запись на обитую шелком модель «Озимандия» от Шанель идет уже на 2015 год).

Теперь мне хорошо виден был гроб с монограммой, люк в крышке отодвинут — для доступа. За гробом все еще болталась пожилая пара, путаясь под ногами у фотографов «Ньюз оф зе уорлд». Вокруг них суетилась блондинка из пиар-группы с прижатым к уху мобильником. Я слышала ее на фоне толпы: «Прости, дорогая, я попробую что-нибудь

сделать», — и тут все накрыла новая волна гула, это покойницу внесли в здание.

«В макияже для Dernière используются концептуальные цвета, и покойная выбрала фиолетовый металлик от „Упадка городов“, с аксессуарами от Мориарти».

За гробом появилась блондинка из пиара, а за ней на буксире — двое растерянных стариков. Охрана очень неохотно пропустила их, что меня совершенно не удивило — в конце концов, ну боже мой, на подобных мероприятиях принят дресс-код, и, между нами говоря, обоим не помешали бы услуги визажиста. Например, кто в наше время носит на похороны водостойкую тушь для ресниц? И потом, пролить пару слез — хорошо, но сморкаться совершенно ни к чему, и вообще, телесные жидкости — это очень неуместно. Я увидела, что официальный фотограф просит их попозировать у гроба — хотя сразу было понятно, что эта фотография никогда не пойдет в печать. Люди читают репортажи с подобных мероприятий ради гламура и светских сплетен, а не для того, чтобы смотреть на мрачные физиономии престарелых любителей гробовщинки. К тому же гериатрическая парочка начала омрачать все мероприятие: я видела, как гости вежливо сторонились их, и даже сотрудники элитного агентства знакомств «Crème de la Crème»^[31] («Гарантируем нескучные похороны!») держались подальше. Я подумала, что, явившись сюда, старики погрешили против этикета.

— С севера, дорогая — Йоркшир, Дербишир, что-то такое...

— Боже, какая тоска. Интересно, что им тут надо: они совсем не похожи на тусовщиков...

— Наверное, из-за церемонии: ведь это была их дочь.

— Боже! Какая гадость! Скорее, скорее, дай мне еще коктейль!

Я сделала огромный крюк, чтобы обогнуть пожилую пару, и провела приятнейшие пять минут, обсуждая косметические тонкости с Кардамон Бэрроуз и ее другом Кориандром Хейгом, а Эмбер из «К. О.» смотрела на меня с завистью. Пожилые северяне поболтались на краю толпы, потом отошли в сторону, отказавшись от еды и напитков. Никто, кажется, не горел желанием с ними разговаривать.

«Все гости получили подарочный набор — образцы новой супертекучей туши „Эпитафия“, мини-бутылочки шампанского „Мозт“ с черной этикеткой, духи нового сезона „Где наша роза?“ от Пеналигон и восхитительный серебряный брелок с подвеской в виде гроба от Эспри и Гаррарда, и все это уложено в прикольную сумочку, выпущенную ограниченным тиражом...»

Наконец всех звезд снимали, и в зале стало очень людно. Было жарко, и я порадовалась, что окна открыты, а под потолком крутятся вентиляторы. Я знала, что через несколько минут начнется церемония и речи — между нами говоря, это самая скучная часть мероприятия, но читателям нравится, а среди скорбящих всегда найдется несколько знаменитостей, чтобы слегка оживить в остальном скучноватое собрание. Я видела в углу Мадонну (себе на заметку: паранджа-шик плюс ироническое мини-платье), которая беседовала с Элтоном Джоном через головы пары дюжин охранников, одетых от Армани; Тома Паркера Боулза и А. А. Джилла (я не сразу поняла, что он тут делает, но потом вспомнила про его новую колонку «Подогретая смерть», посвященную подаваемой на похоронах еде) рядом с Хью Грантом и Софи Дал.

Блокнот быстро заполнялся. Я перестала писать целыми предложениями — черт бы побрал эту моду делать записи от руки (хотя аксессуар для письма от руки такие стильные), — но пообещала себе, что сегодня же вечером перепечатаю все на компьютере дома.

«Грэм Нортон: в люрексе и кашемире „Фейк Лондон“. Джули Бэрчилл с Тони Парсонсом (?) — не может быть??? Аппетитная плейгерл Персик Сайкс — наш ответ Джонни Деппу, виконту Уимбурнскому; Шпекки фон Штрукел, Зейди Смит...»

Некоторое время я развлекалась, пересчитывая гостей, с которыми сестра когда-либо встречалась. Все страшно веселились — гроб к этому времени уже переставили в позицию для прощания, тактично закрыв его бархатом-*dèvorè*,^[32] и обе музыкальные группы разыгрались вовсю. Вдруг, ко всеобщему удивлению, погас свет и наступила тишина, но оказалось, что это Джонни Зануде из «Труппа» исполнил соло в своей собственной иронической интерпретации композицию Кейджа «4.33»,^[33] и присутствующие разразились спонтанной овацией.

Это был сигнал к началу надгробных речей. Предвкушая их, мы отошли к стенам, и в середине зала поднялся громадный подиум. Какие именно знаменитости будут говорить — всегда строжайший секрет, и даже я понятия не имела, кто сейчас должен выйти на сцену. Среди присутствующих столько звезд, что любой выбор будет впечатляющим. Все зависит от того, какой образ решил создать усопший: страждущего интеллектуала (Салман Рушди, Джереми Паксман, Стивен Фрай); оригинала-приколиста (Грэм Нортон); доминатриссы (Мадонна); невинности (Стелла, Джоди, Кейт); плодовой матери (Китти, Пигги, Индия, Пакистан). В любом случае, это волшебный миг. Платья, слезы,

тайны... что угодно может случиться, что угодно может открыться. В прошлом году Элспет Тривиал-Персьют попала на обложку журнала «Пока!», когда совершенно опозорилась — принялась благодарить всех подряд, от Бога до соседского попугайчика, за то, что помогли ей пережить смерть ее песика Фиггиса; а актер Джим Гадостли, легенда порнобизнеса, поразил и рассмешил всех, записав на видео надгробную речь по самому себе и прибыв в крематорий в огромном «порше-гондоне».

Мы ждали, затаив дыхание, но на подиум, все так же держась за руки, вышла пожилая парочка: женщина сжимала потрепанную сумочку от Маркса и Спенсера (настолько старую, что даже винтажной не назовешь), а мужчина был в воскресном костюме и похоронном галстуке, и меня охватило ужасное чувство дежавю. Точно так же все было, когда умерла моя бабушка: тот же костюм, та же старая сумка, то же выражение растерянной скорби над хересом и сосисками в булочках.

Я с ужасом и растущим гневом поняла, что они собираются говорить. Еще, чего доброго, и молиться начнут, не ведая, что с точки зрения моды это позапрошлый век — все равно что пашмины или бронзеры. Это было настолько унижительно, что у меня кровь прилила к лицу. С них станется все испортить; с них станется устроить сцену, когда все шло так хорошо, и напомнить, что, как бы мы ни веселились, мы находимся перед лицом Смерти — первой любительницы гробовщицки. Это было невыносимо. Старуха северянка глядела на меня — глаза в сеточках морщин, углы рта опущены, какой уж там ботокс; и болезненная гримаса растерянности, которая так пошла бы Гвинет или Холли, на старухином лице была слишком реальной, слишком живой, словно пролежень или еще какой-нибудь неаппетитный признак болезни, которого никогда не увидишь на экране.

— Вы, наверное, думаете — чего это мы сюда пришли, — сказала она этим своим типичным ровным голосом. — Но мы ж ее родители, и уж, наверное, нам не надо приглашения на похороны собственной дочери.

Так себе речь, подумала я; обычно начинают с благодарностей, пытаюсь упомянуть как можно больше громких имен за отведенные две минуты.

— Сама бы я все сделала по-другому, — продолжала старуха, с несколько болезненным выражением лица оглядывая зал, — но это день нашей Мэгги, и, конечно, это очень правильно, что все ее друзья пришли за ней поплакать.

«За ней поплакать!» Ужас какой-то. Мне хотелось завизжать, закричать, чтобы она перестала, чтобы поняла, что они все портят, но я

чувствовала на себе старухин взгляд (господи, чего она на меня уставилась?) и не могла пошевелиться, даже дышать было трудно под тяжестью этого грустного, сожалеющего взгляда. Я закрыла глаза, мне было нехорошо.

— Ну, я не очень-то умею говорить речи, — продолжала старуха чуть дрогнувшим голосом. — Веселитесь дальше, не буду вас отвлекать. Но что я хотела сказать... — она прервалась на мгновение, и звуковик глянул на секундомер, — хотела сказать, что наша Мэгги... наша Мэгги...

Согласно похоронному этикету, во время речей двигаться ни в коем случае нельзя. Во-первых, из-за камер, обводящих аудиторию, во-вторых, из уважения к звуковику; но, видит бог, мне надо было выпить. Я взяла с ближайшего стола коктейль, осушила половину одним глотком и почувствовала что дурнота немного отступила. Некоторых гостей имя «Мэгги» заметно сбilo с толку — уже много лет никто не звал ее этим ужасным немодным именем, — но журналисты, кажется, были довольны, они шныряли по краям толпы, наливаясь коктейлями и напихиваясь закусками, а Эмбер из «К. О.», безошибочно чуя скандал, украдкой ухмылялась в мою сторону.

— Чего моя жена хочет сказать, — медленно произнес старик в своей обычной непререкаемой манере, — так это что Мэгги была наша дочь. Мы ее мало видали, она уж так была занята своей карьерой и всяким таким, но все равно мы ее любили, обеих дочек любили. Мы бы для них все сделали, чего угодно... — (Господи, ну что же он никак не заткнется? — спросила я себя.) — и всегда делали, чего могли. Но нам было просто не угнаться за ней. Мы никогда не обижались, если она не приезжала нас навестить, или не звонила, или была слишком занята, чтоб отвечать на телефон. Мы гордились нашей Мэгги и до сих пор гордимся. Помню, однажды...

К счастью, тут две минуты кончились и микрофон вырубился. Я испытала смутное облегчение — теперь не придется слушать воспоминания северянина про тетю Мадж, или дядю Джо, или, что неизмеримо хуже, про малютку Аджи и ее ящик с нарядами и как они с сестричкой были все равно что две капли воды, ну совсем как близняшки, масюсечки такие, два маленьких ангелочка. Я снова открыла блокнот и яростно застрочила:

«Речи оч. разочаровали. Не забыть: большая статья — пропасть между поколениями (?). Шутливый тон, напр. „Уходя — уходи“, или „Пятьдесят способов перерезать пуповину“». Но когда я подняла взгляд, оба все еще смотрели на меня, она — вытянув руку перед собой, а он — с тем побитым видом, который я всегда ненавидела, словно я могла им что-то

дать или они могли что-то дать мне.

— Мама, я тебя умоляю, — пробормотала я.

Но северянка была непоколебима.

— Ну давай, Аджи. Не стесняйся. Она была бы рада.

Люди уже поворачивались ко мне; у меня горело лицо. Мне хотелось завопить в отчаянии: «Мама, пожалуйста, не надо, я тебя умоляю», — но удалось только беспомощно пожать плечами и улыбнуться, словно я оказалась жертвой забавного *malentendu*,^[34] а супруги-северяне смотрели на меня с подиума, задрапированного в бархат-*dèvorè*, в грустном изумлении, потом — в растерянности, потом наконец все поняли и сдались.

Он съезжился за отведенные ему две минуты: казалось, в нем теперь не больше четырех футов росту, гном в воскресном костюме у гроба дочери, а жена и того меньше — сморщенная старуха, того и гляди умрет, так и не попробовав лакричного кира и блинов с белорыбицей; испуганная старуха, которая отважилась даже на кошмар светской похоронной тусовки, лишь бы хоть мельком увидеть потерянных дочерей...

В детстве мы никогда не прощаем любимым людям того, что они смертны. На похоронах бабушки были херес и сосиски в булочках, и мы плакали вместе, мамка, сестра и я, оттого что нечестно, когда у тебя забирают близкого человека без предупреждения в возрасте пятидесяти девяти лет; а потом собирали недоеденное в пластиковые контейнеры, пока папка с друзьями пошел в «Машинистов» пропустить по пинте, а мы с Мэгги играли в волшебных принцесс со старыми бабушкиными одежками и оранжевой помадой тети Мадж и клялись друг другу, что будем жить вечно. Но все это было так давно; все изменилось, и очень хорошо. Я больше не Аджи — я теперь Анжела К.: утонченность, остроумие, стиль, а главное — светский лоск. Анжела К. и тоска по прошлому — вещи несовместимые, Анжела К. не плачет, не скулит; ко всему относится легко и просто, иронично, остроумно, и совершенно никаких телесных жидкостей.

— Аджи, родная моя, я тебя очень прошу...

— Ты знаешь, ведь мы с мамой не вечны...

— Мы волнуемся за тебя, ты никогда нам не звонишь...

— А ты такая худая стала — совсем как...

— ...твоя сестра.

Это было уже слишком. На меня словно накатывала лавина, обрушивая все по дороге. Фотографы тоже это видели, и я ощутила, как нацелились на меня голодные объективы, потому что если и есть что-то лучше речи знаменитости на *Dernière*, так это когда знаменитость теряет

лицо, а я ведь была знаменитостью, пускай лишь косвенно. Оно все близилось: глаза щипало, горло перехватило и вопль почти вырвался наружу, почти обрел звук. Его было уже не остановить; вопрос был лишь в том, насколько все это повредит мне; и когда из глаз полились слезы, а из носа — сопля, я почувствовала, что с ними утекает все: мой светский лоск, мои перспективы, моя карьера, мои мечты.

От этого никуда не денешься, смутно думала я, бессмертных не бывает. Смерть повсюду, ей не преградят путь ни черная лента, ни охранники; ее не впечатлить ни музыкой, ни сплетнями, ни закуской от модных поваров. Она во всех нас; она — на вещевом рынке и на подиуме «от кутюр»; у нее нулевой размер одежды, предмет всеобщей зависти; она гремит кастаньетами; она покоряет сердца; она остроумна. Я плакала о том, что все это так нечестно, о бессмертных, о сестре, о папе с мамой, о себе. Потому что в конце концов все сводится к нам самим, правда? Это главная истина: мы плачем, потому что знаем — мы не вечны. Это ярость против дефектного гена, сидящей в нас смерти, и мы ненавидим своих близких за то, что они передали этот ген нам.

Зрители смотрели завороженно. Все объективы устремились на меня. Строго говоря, я уже вышла за двухминутный регламент, но это было отлично, это было вкусно, для этого (втайне) мы все сюда и пришли: попробовать живой человечинки, принести кровавую жертву перед улыбающимся ликом Смерти, самого компанейского существа на свете.

— Это нечестно! — взывала я, перекрывая шум. — Я не готова!

Засверкали вспышки, загрохотал оркестр, гул толпы взмыл до стоны, и Эмбер тихо сказала мне на ухо:

— Давай, дорогая. Убей их.

ВОЛЬНЫЙ ДУХ

Замысел этого рассказа пришел ко мне как-то субботним утром, за грязным столиком переполненного кафе в супермаркете. Тогда он меня напугал и до сих пор пугает.

Меня не привязать к месту. Я вольный дух: лечу, куда ветер несет. Вчера вечером я был на берегах Сены, в Париже. Она спала под мостом: шестнадцатилетняя, красивая, измотанная. На земле вокруг ее постели валялись фольга и использованные шприцы. Я сразу понял, что это — она. Длинные волосы цвета реки разметались на грязных кирпичках; глаза были закрыты. Когда я притронулся к ней, она тихо, вопросительно простонала; на коже проступили пятна румянца; веки затрепетали. Иногда она, казалось, хотела заговорить, но нам не нужно было слов. Мы уже слились воедино. Она сжимала кулаки, хватала руками воздух, шея и бледные руки расцвели. Она была прекрасна — словно светилась изнутри, пылая в лихорадке.

Все случилось очень быстро — единственный недостаток этих коротких встреч. Самое большее, сутки — и конец. Но ветер все дует; сквозняк подхватывает обрывок фольги из-под моста, несет через Пон-Нёф, через остров Ситэ и осыпается с дождем конфетти на ступени церкви, где позируют, улыбаясь фотографам, молодожены.

Надо решать. На кого падет выбор? На невесту? На жениха? Гости гораздо интереснее: мальчик-подросток с герпетической россыпью вокруг угрюмого рта; бабушка с ввалившимся лицом и узловатыми руками в белых перчатках. Для меня они все прекрасны, все одинаково достойны моего внимания. Я предоставляю выбор кусочку фольги: в этом есть определенная романтика. Он крутится, летит по ветру. Лица подняты к небу. На мгновение кусочек фольги касается губ лысеющего мужчины, двоюродного брата с плоским, невыразительным лицом, стоящего чуть поодаль. Значит, он. Я провожаю его до дома.

Он живет на Марнь-ла-Валье; квартирка маленькая, у хозяина явно болезненное пристрастие к чистоте и совсем нет друзей. Ни пивных банок под диваном, ни грязной посуды в раковине. Вместо этого — книги: научные труды, медицинские словари, анатомические атласы. Этот человек четырежды в день полоскает рот листерином, аптечка в ванной забита — целый арсенал закоренелого ипохондрика.

Я, однако, не против; мне даже интересно. Вот человек, который толком не понимает природы и силы собственных желаний; за чистоплюйством, за явным страхом я чувствую его тайную жажду. Кроме того, я люблю трудные задачи.

И опять не нужно слов. Он испытывает иррациональный страх по отношению ко мне и все же приветствует мой приход с чем-то вроде облегчения; он словно ждал этой минуты. Он сопротивляется с отчаянием, придающим нашей встрече некую изюминку, и, когда наконец барьеры рушатся, откликается даже быстрее той девушки, ослабленной трудной жизнью и воспалением легких.

Но меня не привязать к месту. Я могу подарить ему только сутки, а несходство наших характеров уже начинает создавать проблемы. Он хочет близости: целый день валяться в постели перед телевизором, с холодными напитками на тумбочке у кровати. Я же люблю шумные компании; чтобы выжить, мне нужно общение. Я уже начинаю скучать по ночной жизни, клубам, лихорадочному теплу Парижа. Он засыпает, и я ускользаю — в тот момент, когда приходит уборщица.

Она ничего не подозревает; осторожно наклоняется над ним (уже первый час дня), словно хочет проверить у него температуру.

— Может, доктора позвать? — спрашивает она; не дождавшись ответа, пожимает плечами и начинает убирать квартиру.

Этого достаточно. Я сбегая незамеченным — единственным контактом между нами было касание ее руки.

Уборщица — женщина старая, но крепкая. Она живет возле Пигаль. Это мой любимый район Парижа: пестрый, уродливый, кишачий жизнью. Я иду с уборщицей в Сакре-Кёр,^[35] где она молится, а я охочусь, перебегая от туриста к туристу и жадно оглаживая засаленные камни. Воздух душен от курений; отсюда кающиеся выходят на Монмартрский холм, спускаются на площадь Пигаль, которая кишит шлюхами и альфонсами, где как раз начинают работу стрип-клубы.

Я бы остался с уборщицей, но жизнь для этого слишком коротка. Меня ждут сотни, тысячи других людей. Я быстро перехожу от одного к другому: монахиня, стоящая с кружкой у дверей базилики, собирает больше, чем намеревалась; пожилой господин, который дал ей бумажку в сто франков, получает на сдачу кое-что неожиданное; а позже, той же ночью, мальчик, который клянется, что ему четырнадцать (на самом деле ему девятнадцать и он очень неплохо зарабатывает), повстречает нас обоих в темной арке у закрытой станции метро, а потом возьмет меня с собой в ночной клуб, где я смешаюсь с толпой веселящихся, ныряя в напитки, угощаясь чужими

сигаретами, касаясь плоти и наслаждаясь теплым влажным воздухом.

Для меня все равны: молодые, старые, здоровые и испорченные, мужчины и женщины. Каждому я могу подарить лишь сутки; но в эти сутки я отдаю им всего себя. Кто следующий? И где? Что это будет — игла, поцелуй, подобранная на улице и принесенная домой монета? Кусочек сахара в переполненном кафе, или радостное топтание мухи по пирожным в витрине кондитерской, или пугливые руки извращенца в метро, или несомая ветром пыль, прилипшая к детскому леденцу? Что бы это ни было, я там буду. Ты меня не увидишь; я не скажу ни слова. Но все равно мы с тобой сольемся воедино. Мы с тобой будем ближе любовников, сплетемся теснее спирали ДНК. Ничто не омрачит нашего полного физического слияния — ни ссоры, ни измены, ни ложь. Ты отдашься мне целиком, и я отдамся тебе всецело. На время.

А потом — снова в путь. Без сожалений. Может, я отправлюсь в Америку, в набитом людьми кондиционированном салоне самолета. Или в Англию, через туннель под Ла-Маншем. А может, обратно в Африку, или в Азию, или в Японию. Обогну весь мир десятикратно. Повстречаюсь с миллионами людей. Поэтому я нигде не остаюсь надолго. Меня не привязать к месту. Я скиталец. Путешественник. Компанейское существо. Я вольный дух и лечу, куда ветер несет.

АВТО-ДА-ФЕ

В том, как люди ведут себя в машинах, есть что-то ужасно первобытное. Сидя за рулем, мы демонстрируем все повадки стадных животных: сексуальную агрессию, грубое торжество силы над слабостью, вечную борьбу за порядок клевания в автомобильной стае. Кто-то называет это «дорожной яростью». Другие предпочитают более выразительный термин.

Мне нравятся машины. Всегда нравились: еще мальчиком я любил их запах, формы, цвета, разнообразие размеров. Я играл с ними в детстве: грузовики «Тонка», машинки «Мэтчбокс», люблю назовите — она у меня была, они все у меня были. А теперь я водитель, профессионал, странствующий рыцарь.

Знаете, машина определяет мужчину. «Отражение мужского супер-эго», как говорит Энни, принося мне чай. «Внешнее выражение латентного желания сексуально доминировать над другими самцами». Всё эти всякие курсы, на которые она ходит. Фрейд и сексуальная доминация. Я был бы рад, если бы и мне что-нибудь из этого перепадало. Но нет. Вечно одно и то же: «Милый, давай не сегодня. У меня месячные». Неудивительно, что я лучше лишний раз пополирую машину.

Она, конечно, красotka. «БМВ» цвета «полночная синева». Колеса с литыми дисками, кожаные сиденья с каштановой отделкой. Классная машина. Я бы такую купил, если б мог себе позволить. Но она не моя. Она — собственность компании, и компания может в любой момент ее забрать. Представьте себе, каково мне. Хотя нет, лучше не надо. Я уже наслушался от Энни про символическую кастрацию и внутриутробные травмы. Только она меня понимает. Мы с ней — идеальная пара, трижды в день пролетаем по М1 от Лидса до Шеффилда, неся миру свет от «Мэтью Макарнольда и сына», поставщиков мягкой мебели.

При такой работе, как у меня, начинаешь понимать машины. Самые разные — «корсы», «гольфы» для студенток-медсестер по имени Хейли, потрепанные «эскорты» для прыщавых студентов экономфака политехнического, «2CV» или пригламуренные «жуки» для хорошеньких актрисулеч по имени Кейт, «лексус» матового серебра для ее папочки — преуспевшего банкира по имени Лен, у которого интрижка с Джейн на «форде-К», хорошо сохранившейся в свои сорок пять распутной

секретаршей теннисного клуба. На своем маршруте выучиваешь всех завсегдаев. Азиат на коричневом «ниссан-санни» вечно захапывает себе среднюю полосу. Блондинка в бирюзовом «чинквеченто», проверяющая в зеркале заднего вида, как лежит губная помада, у выезда с развязки 37. Белый фургончик с выезда 36 — из кузова торчит лестница, на конце которой болтается тряпка. Красный «проуб» — вот где материал для психологической группы Энни — топит 90 миль в час по скоростной полосе и гудит каждому, кто попадает к нему на пути. И вон той полицейской машине без опознавательных знаков тоже — «Привет, ребята, вижу ваш „Ровер-500“...» Все, парень попал. Видите, машины надо знать, это полезно.

Взять, например, V-мэна. Вы его наверняка видели: черный «вольво»-седан, черные спойлеры, тонированное лобовое стекло, темные очки «Топ ган». Вот кто меня бесит. Думает, он лучше всех, потому что у него эксклюзивный люк в крыше и личная номерная дощечка: «KE51». Щас, ага. Но мы все равно каждый раз делаем одно и то же, я и V-мэн, носом к носу, вроде гладиаторов, каждое божье утро.

Понимаете, я — хороший водитель. Эта машина у меня уже год — мне ее дали вместе со званием «продавец года», — и на ней до сих пор ни царапинки, а у меня ни единого штрафа. Может, я не так уж тщательно соблюдаю правила: ну, в конце концов, ограничение скорости — это условность, а если пропустить пару рюмочек на дорожку, это только помогает сосредоточиться... Но я умею водить, я знаю дорогу, знаю людей и умею водить. Опасны такие, как V-мэн. Те, которые слишком много из себя воображают и хотят это доказать. Я просто веду машину; работа у меня такая. Но не то чтобы в этом прямо вся моя жизнь или что-нибудь в этом духе. Это было бы как-то слишком. А вот V-мэн водит так, будто это у него что-то личное, будто вопрос не в том, чтобы переместиться из одного места в другое, а в чем-то большем; и когда он ныряет между двумя здоровенными трейлерами на скоростную полосу и уносится прочь, втопив восемьдесят пять миль в час, я словно его мысли читаю: «Эй ты там, в навороченном „бимере“ с литыми дисками! Смотри, как водят настоящие мужчины!» Я никогда не видел его лица из-за тонированных стекол, но точно знаю, что он мелкий плешивый придурок с усиками, им все помыкают в офисе, а он отрывается на дороге.

Меня это не трогает; обычно, во всяком случае. Но сегодняшний день начался неудачно: я проспал, собирался впопыхах, между развязками 36 и 37 одну полосу перекрыли, да еще Энни что-то сказала насчет того, что нам надо «выбрать время и поговорить серьезно» — небось, это значит, что она

встречается с кем-то еще, а может, и того похуже — хочет ребенка. Чтобы окончательно испортить и без того паршивый день, мне только V-мэна не хватало, чтобы он нарисовался на дороге в своем черном «вольво» и попытался меня втихую обставить.

Конечно, обычно побеждаю я. Девять раз из десяти побеждаю, потому что «БМВ» кроет эксклюзивное «вольво», как бык овцу, но сегодня утром у меня было предчувствие, что он попытается отмочить какой-нибудь фокус, словно почувет, что мне плохо, и решит попытаться счастья. И точно. Я заметил его на выезде с развязки 36 — в обычное время, точно как часы. Он тут же перестроился в среднюю полосу прямо передо мной — ни поворотником не мигнул, не показал ничего, в зеркало не посмотрел. Вот ведь козел. Конечно, он это нарочно. Думает вывести меня из равновесия. Я помигал ему фарами, подъехал так близко, что чуть не уперся ему в задний бампер, и опять помигал. Потом обогнал его чистенько и аккуратно по скоростной полосе, перестроился в среднюю прямо перед ним и помигал поворотниками — по два раза с каждой стороны, чтобы до него дошло. Можно было надеяться, что тем и кончится. Но бывают люди страшно упертые, правда, — будут зудеть, пилить, пока у вас внутри что-то не сломается и вы их не треснете хорошенько. И тут же затягивают: «Ах ты, козел, ты что руки распускаешь, ухожу к маме» — сначала сами напрашиваются, а потом ты же еще и виноват. Ну вот и V-мэн из таких. Через минуту он меня обогнал — плевать, что он не может ехать быстрее красного «проуба», который только что подъехал сзади, — выехал на скоростную полосу и унесся вперед с висящим у него на хвосте «проубом», да еще помахал мне на прощание. Лица я не разглядел из-за черных очков, но видел, что он в водительских перчатках — такие кожаные, с «дышащей» подкладкой, — и почему-то этого оказалось достаточно. Я с ним не знаком, но вдруг понял про него все. Понял и возненавидел.

Его зовут Кейт или Кен, и он торговый агент. Ему сорок пять, он уже больше года ни с кем не спал, с тех пор как его жена (тридцать девять лет, пепельная блондинка, «хонда-сивик») ушла к какому-то типу, с которым познакомилась на занятиях хатха-йогой. Он носит костюмы от «Братьев Мосс» и рубашки из «Маркса и Спенсера», причем в салоне машины у него всегда запасная рубашка на вешалке, на случай, если он вдруг вспотеет перед важной встречей. Он выбрал «вольво» за надежность, но именно черную спортивную модель, чтоб чувствовать себя «молодым, свободным и всегда готовым». Он носит черные очки даже в пасмурные дни и водительские перчатки, словно боится натереть мозоли, хотя у него руль с гидросилителем, и прямо сейчас он слушает «Радио-два»: «Дайр Стрейтс»

играют «Султанов свинга» и Терри Воган как раз начал приглушать длинное гитарное соло перед началом восьмичасовых новостей (терпеть не могу, когда он это делает, потому что соло — лучшая часть песни), а V-мэн подпевает или, может, постукивает по обитому кожей рулю, как по барабану, и думает, что продал бы душу ради такого «стратокастера», как у Нофлера, он всегда хотел такой, а теперь он опять свободен, ни детей, ни алиментов, может себе позволить. На секунду он воображает себе, как заходит в музыкальную лавку в районе Боар-лейн в Лидсе, бродит вдоль стены, на которой, словно трофеи, развешаны гитары. Может, обращается к неряшливому юнцу за кассой, стараясь говорить как можно небрежней: «Покажите, пожалуйста, вон тот „фендер-стратокастер“». А кассир отвечает: «Хорошо, сейчас принесу усилитель». Но, кажется, он ухмыляется, отворачиваясь? И не добавил ли он «дедуля», так тихо, что никто больше не слышал?

И вот, говорю вам, в этот момент я понял про него все: его одиночество, жалкие мелкие фантазии и как ему, когда он втискивается на тугие кожаные сиденья черной «вольво», почти удается вообразить себя другим человеком, почувствовать, что он — V-мэн, странствующий рыцарь, смело встречает любой вызов, несется вперед, делая «мерсы», «ягуары» и «бимеры», как стоячие...

Я не мог ему этого так оставить. Не то чтоб я какой-нибудь убогий, но просто не мог. Это вопрос гордости. Я обогнал его с внутренней стороны — он все так же зажимал скоростную полосу — на оскорбительной скорости, всю дорогу показывая ему средний палец. Он все видел: тоже показал мне палец и прибавил газу, но скоростная полоса впереди закрывалась, и все, кто по ней ехал, притормаживали, так что я его опять обогнал, ухмыляясь, и демонстративно поцеловал свой средний палец, обращаясь к удаляющемуся лобовому стеклу.

На том бы все и кончить. Но день был явно не мой: ближе к месту дорожных работ средняя полоса вдруг затормозилась, машины ползли — никто не хотел перестраиваться в медленную полосу, а те, кто ехал по быстрой, проталкивались в ряд в последний момент, несмотря на то что их предупредили за 800 метров. Они знают, всегда найдется идиот, который их пропустит, особенно если баба за рулем. Я лично никого не пускаю. Это Индия или Шафран пусть опаздывают на курсы ароматерапии; я лично спешу на работу.

Но из-за этого V-мэн меня опять обошел; остальные, кто ехал по быстрой полосе, уже все встроились в средний ряд, но только не он. Он промчался мимо, устремив взгляд вперед, чуть сгорбившись над рулем. Я

заметил у него на приборной панели игрушку, судя по форме — Кенни из «Южного парка». Это почему-то очень вязалось со всем остальным, что я про него знал, и от этого я еще сильнее заскрежетал зубами. Но я бы, может, и это ему спустил, если бы не то, что он сделал дальше. Впереди на полосе была девушка в белом «MG», просила, чтобы ее пустили. За две машины впереди меня был красный «проуб», за ним — белый фургончик и зеленая «королла». Я не видел, чтобы «проуб» кого-нибудь пустил — он страшно торопился, как обычно, — но фургончик бибикнул девушке, пропуская ее, и она встроилась в полосу впереди меня. Отлично. V-мэна сделали. Я уж точно не собирался его пропускать; зеленая «королла», похоже, служебная и никому никаких любезностей оказывать не будет; так что V-мэн может сигналить, сколько его душе угодно, — я собирался гордо проплыть мимо него, показывая средние пальцы обеих рук, если получится, и пускай нюхает мой выхлоп. Таков был мой план.

Но V-мэн — из упертых водителей: беспечный, нахальный, а в некоторых случаях наглость — второе счастье. Это был как раз такой случай: в решительный момент фургончик замешкался, и V-мэн изо всех сил рванулся за белым «MG». Он на дюйм разминулся с ее бампером, чуть не врезался своим задним бампером в фургон, но ему повезло, и он влез в полосу, ведущую к его выезду. Я бы и это ему простил, если бы он не бибикнул тихонечко, пролетая мимо, и не махнул мне рукой небрежно сквозь тонированное заднее стекло.

Это было последней каплей. Кровь ударила мне в голову. Я поддал газу, рванулся в медленную полосу и начал преследование. Выезд был не мой, и V-мэн это знал — потому и осмелился на открытый вызов. Но на этот раз, именно сегодня, я не мог этого так оставить. V-мэн ехал в медленной полосе, зажатый машинами; когда он свернул с магистрали на боковую дорогу, я был на пять машин позади него. Я выругался, слетел с дороги на асфальтированную обочину и догнал его — черт с ними, с камерами слежения, — так что, когда мы достигли светофора на круговой развязке, я был совсем рядом, в натуральную величину, прямо за его задним бампером, и сверлил его взглядом через заднее стекло.

Это явно выбило его из колеи. Он смотрел прямо перед собой, ожидая, когда сменится свет. Но я видел, что он смотрит на меня в зеркало; каждые пять секунд его кроличьи глазки перебежали на светофор, потом в зеркало, где я яростно ухмылялся и обзывал его, как можно более отчетливо шевеля губами. Я отстегнул ремень безопасности, чтобы посмотреть, что сделает V-мэн; потом на волосок приоткрыл свою дверь. V-мэн явно пересрал. Когда я высунул наружу ногу, он подскочил на метр и нажал кнопку

запирания дверей, оглянувшись на меня, — очки съезжали с носа. Я подъехал чуть поближе и замигал ему фарами, тут сменился свет на светофоре, я захлопнул дверь и ринулся в погоню.

Я никогда раньше не ездил этой дорогой. Обычно я езжу по М1 — туда-обратно, Шеффилд — Лидс, — но сегодня, азартно преследуя добычу, я знал: у меня всего ничего времени в запасе, чтобы добраться до работы вовремя. Но это не имело значения; я собирался раз и навсегда показать V-мэну, кто тут главный, даже если для этого мне придется спихнуть засранца с дороги. Мы проехали миль пять или шесть по двухполосному шоссе по направлению к Брэдфорду, V-мэн пытался оторваться, но шансов у него не было. Я всю дорогу ехал вплотную, прямо у него на хвосте, и он больше не думал мне бибикать и махать ручкой; теперь ему было не до шуток — он смотрел прямо перед собой, то и дело нервно, загнанно поглядывая в зеркало заднего вида. Он пытался прибавить скорость, вилять между грузовиками, чтобы меня стряхнуть, но ничего не вышло. Потом он сбросил скорость, пополз, надеясь, что я его обгоню, но я тоже притормозил. Наконец он заехал на придорожную станцию техобслуживания, пересек стоянку для грузовиков, проехал заправку и остановился перед «Бургер-кинг», оставив машину на холостом ходу: а слабо мне будет напасть на него там?

Последний раунд.

Я поставил машину напротив него, и мы постояли так минуту, лоб в лоб, глядя друг на друга. Я распахнул дверь машины, подождал. Он не открыл дверь. Я вышел, надел солнечные очки, прикрывая глаза от утреннего солнца. Он все сидел, как испуганный кролик в норе, и смотрел, как я медленно подхожу к черной «вольво».

Теперь, подойдя поближе, я видел, что машина у него не такая уж новенькая и блестящая, как я думал: порог пассажирской двери чуть заржавел и вокруг левой фары заметно, что кузов выправлен. Я видел V-мэна через тонированное стекло — в руке у него был мобильник. Я стоял и смотрел, а он поднял мобильник слабым угрожающим жестом, словно собирался звонить в полицию.

— Вылезай, — тихо сказал я.

V-мэн по ту сторону стекла покачал головой.

Я пнул ногой дверь «вольво» с такой силой, что посыпались кусочки ржавчины.

— Вылезай, — повторил я.

Окно водителя опустилось на щелочку.

— Я звоню в полицию, — высоким дрожащим голосом сказал V-мэн.

Доносилась едва слышная музыка — «Радио-два» передавало «Золотой обруч» (Фреда Пейн, 1970).

— Звони-звони, урод, — сказал я и двинул кулаком в окно.

Россыпь фальшивых алмазов. Было больно, но все равно приятно; я чувствовал, как сместились от удара костяшки кулака.

— Что, урод, хватит с тебя сексуально доминировать? Чувствуешь моральное удовлетворение?

Я не совсем то собирался сказать, но увидел, что глаза у него расширились от страха.

— Я... послушайте, у меня есть деньги, — сказал он. — Возьмите. И мобильник.

Он вытащил бумажник — черный, кожаный, как и перчатки, но рука у него так сильно дрожала, что я не мог толком этот бумажник разглядеть. Черт возьми, за кого он меня принимает?

— Ты меня подрезал, — сказал я, игнорируя протянутый бумажник. — Я никому не дам так со мной обращаться.

Вот что я должен был сказать Энни сегодня утром. Жаль, она меня сейчас не видит. Может, отвлеклась бы ненадолго от этого своего пижона-психолога.

V-мэн смотрел на меня со страхом и непониманием.

— П-подрезал? — заикаясь, повторил он.

— Да-да. — Я протянул руку в разбитое окно и открыл дверь. — А теперь я тебе что-нибудь подрежу, козел.

V-мэн все смотрел на меня остекленелыми глазами.

— У меня жена, — прошептал он, — дети...

— Врешь, — ответил я, точно зная, что он врет.

— Вру, — прошептал V-мэн.

— Тебя зовут Кейт или Кен? — спросил я.

— К-кенни.

Это объясняло игрушку на приборной доске. Теперь, глядя в машину, я видел всю его жизнь: пиджак на проволочной вешалке; дешевый «дипломат»; старая фотография блондинки (наверняка ее зовут Пенни, или Конни, или Фрэнни, что-нибудь такое) приклеена к бардачку; на зеркале заднего вида болтается освежитель воздуха «Волшебное дерево»; журнал «Арена» — украденный у коллеги — лежит на заднем сиденье, чтобы создать впечатление юности и беззаботности; и сквозь все это, запах его пота, вонь освежителя воздуха и кожаных перчаток, чувствовался знакомый, ужасный аромат — словно мочи, или обедов навынос, или невытряхнутых пепельниц и заношенного белья — аромат безнадеги,

отчаяния, умирающих надежд.

— Что вы хотите со мной сделать? — прошептал V-мэн.

Меня так накрыло волной ненависти и понимания, что я почти забыл про него; я перевел взгляд и увидел его жирное, уродливое лицо, слабые глаза, редящие волосы, расплывающееся темное пятно в паху брюк от «Братьев Мосс».

Рука, которой я пробил стекло, болезненно пульсировала; я потерял костяшки — конечно, очень глупо с моей стороны, мог и сломать себе что-нибудь; тем более неприятно, что другую руку я тоже ушиб, сегодня утром. Голова тоже болела; несмотря на темные очки «Рэй-бан», утреннее солнце словно било мне прямо в глаза. Мой мобильник звонил едва слышно из-за играющей по радио музыки («Золотой обруч» сменился композицией «Мы — чемпионы» группы «Куин»): должно быть, с работы звонят, хотят узнать, куда я делся, или Энни — закончить утренний разговор («Если б ты был мужчиной, Бенни, ты бы не испытывал потребности все время доказывать, что ты не лузер» — да что она вообще понимает, дура!). Но я ей показал; на этот раз я ей показал как следует, и плевать, что она грозилась позвонить в полицию, — мое терпение тоже неограничено. И V-мэн теперь знает — дрожит на сиденье из кожзаменителя, обоняя мочу, высыхающую на пятидесятифунтовых брюках от «Братьев Мосс». Теперь ему ясно, кто в этой игре проиграл — не я.

На этот раз я им показал. Обоим. Никому не позволено подрезать меня безнаказанно; никому не позволено держать меня за лузера. Я пошел обратно к своей машине, сел, включил радио («Пинк Флойд» — «Еще один кирпич в стене», часть вторая), поправил талисман на приборной доске (Барт Симпсон), надел перчатки, дал газу и вылетел в направлении восходящего солнца, а за спиной у меня вспыхивали мигалки, вопили сирены, и чем дальше я уезжал, тем сильнее становился призрачный запах мочи, запах лузерства.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Не так давно, в пору массовой истерии в прессе по поводу педофилов, на моего друга-пенсионера напал сосед. Почему? Потому что пенсионер любил прогуливаться у школьной спортплощадки и смотреть, как дети играют в футбол. Безобидный старик был так испуган неожиданным нападением, злобным и беспричинным, что теперь почти не выходит из дому. Меня это так расстраивает, что не передать словами. Кажется, всех детей по всей стране учат видеть во всех незнакомцах потенциальных агрессоров, и все больше и больше взрослых держатся от детей подальше, боясь попасть под подозрение. Эта история многим обязана незабываемому рассказу Брэдбери «Пешеход».

Каждое буднее утро, в половине одиннадцатого, мистер Леонард Мидоуз надевал плащ, красный шарф, древнюю фетровую шляпу и отправлялся на ежедневный моцион. Мимо мелочной лавочки на углу, где брал свежий «Таймс» и иногда четверть фунта «Мюррейских мятных» или «Йоркширской смеси»;^[36] мимо заброшенного кладбища с покосившимися надгробиями и венками из зарослей болиголова и вьюнка; мимо благотворительного магазина подержанных вещей, где он обычно покупал одежду; через улицу с гудящими машинами; через небольшой лесок, где он когда-то выгуливал пса, на дорогу, идущую по краю школьной игровой площадки. Обут он был в кроссовки, как для удобства, так и для незаметности, и в хорошую погоду присаживался на стену минут на двадцать — посмотреть на играющих детей, а потом шел обратно через лес в кафе Дэра, к привычному чаю с тостами.

Был конец октября, солнечный день, и воздух был приправлен сладковатым дымком, словно от палых листьев. Прекрасный день, каких так мало перепадает английской осени, — нагретый солнцем, словно абрикос, опутанный ежевикой, хрустящий, будто кукурузные хлопья под ногами. Здесь, у игровой площадки, было тихо; сложенная из камней стена у края леса отмечала границу, за которой трава была еще свежа, как летом, пестрела маргаритками и по небольшому уклону спускалась к квадратному кирпичному зданию, мягко светившемуся на солнце.

Без пяти одиннадцать. Через пять минут, сказал он себе, перемена, и дети вылетят из четырех школьных дверей, как фейерверк, — красные, синие, неоновозеленые; волосы летят по ветру, гольфы наполовину

спущены, пронзительные голоса, как воздушные змеи, взмывают в мягкий золотой воздух. Перемена — двадцать минут; двадцать минут свободы от правил и инструкций; двадцать минут драк и разбитых носов; потерянных и выменянных сокровищ; героев, негодяев, мятежного шепота на ухо; блаженства — вопящего, пестрого, с шершавыми коленками.

Мистер Мидоуз когда-то сам был учителем. Тридцать лет в классах, в запахах мела, капусты, скошенной травы, носков, воска для натирки полов, жизни. Конечно, в 2023 году никаких учителей больше нет — ведь компьютеры гораздо безопаснее и эффективнее, — но школа все-таки выглядела такой знакомой, такой настоящей в мягком октябрьском свете, что почти удавалось забыть про ограду из железной сетки, которая высилась над низенькой каменной стенкой, полностью окружив игровую площадку, про значок молнии — ограда под током — и про табличку с предостережением: «Школа! Взрослые допускаются только в сопровождении служащих!»

Но мистер Мидоуз вспоминал свои кабинеты: покрытые шрамами деревянные полы в фиолетовых кляксах, истертые насмерть поколениями детских ног; коридоры, мягкие от пыли, налетевшей со школьных досок; хрупкие стопки книг; парты, расписанные подрывными лозунгами; мятые тетрадные листки; конфискованные сигареты; списанные домашние задания; таинственные записки и прочие забытые улики потерянной, давнишней благодати.

Конечно, теперь все не так. Теперь у каждого ученика свой компьютер на пластиковом столе, с голосовым управлением и электронным пером, и компьютерно-анимированный наставник с безвозрастным умным лицом (прототип, выбранный из тысяч вариантов сотрудниками Центра возрастной политики, должен внушать ученикам доверие и уважение). Все уроки проводит компьютер — даже лабораторные работы проходят виртуально. В стародавние варварские времена дети могли обвариться паром на плохо организованных уроках кулинарии, обжечься кислотой на химии, поломать руки и ноги на физкультуре, ободрать коленки на бетонированных игровых площадках, а живые учителя безжалостно мучили детей и всячески издевались над ними. Теперь все дети в безопасности. До такой степени в безопасности, что их стало почти не видно. И все же, подумал мистер Мидоуз, они не слишком отличаются от детей его времени. И шумят так же. Что же изменилось?

Мистер Мидоуз так глубоко задумался, что не услышал ни подъезжающего фургона охраны, ни зазвучавшего вдруг сигнала тревоги: «Дети! Опасность! Дети!» Лишь когда фургон остановился прямо перед

ним, вращая мигалкой, он увидел его, вздрогнул и очнулся.

— Стой! Ни с места! — сказал металлический голос из машины.

Мистер Мидоуз так быстро вытащил руки из карманов, что выронил пакетик с карамельками и пестрые конфеты рассыпались по дороге. За железной сеткой дети тихо выходили из школы по двое и по трое, одни — сгорбившись над электронными игрушками, другие — с любопытством поглядывая на машину охраны со светящейся мигалкой и очень старого человека в потертой фетровой шляпе, с поднятыми руками и вывернутыми наружу ладонями, похожего на актера из старого фильма, где все черно-белое, где всадники грабят дилижансы и марсиане крадутся по пустыням, вооруженные лучами смерти.

— Имя? — резко спросила машина.

Мистер Мидоуз назвал, не забывая держать руки на виду.

— Род занятий?

— Я... учитель, — признался мистер Мидоуз.

Из машины послышалось жужжание.

— Без определенных занятий, — сказал металлический голос. — Семейное положение?

— Э... я не женат, — ответил мистер Мидоуз. — У меня была собака, но...

— Не женат, — произнесла машина. Хотя речь робота была совершенно лишена интонаций, мистеру Мидоузу послышалось неодобрение. — Объясните, пожалуйста, мистер Мидоуз, с какой целью вы праздно шатались по территории, отмеченной хорошо видимыми запрещающими знаками?

— Я просто гулял, — ответил он.

— Гуляли.

— Я люблю гулять, — объяснил мистер Мидоуз. — Люблю смотреть, как дети играют.

— Часто вы этим занимаетесь? — спросила машина. — Гуляете и смотрите?

— Каждый день, — ответил он. — Уже пятнадцать лет.

Воцарилось долгое, шипящее молчание.

— А известно ли вам, мистер Мидоуз, что личный контакт — в том числе физический, аудиовизуальный, виртуальный или электронный — между ребенком или молодой особой — то есть любым гражданином, не достигшим шестнадцати лет, — и безнадзорным взрослым строго запрещен статьей девять Закона о возрастной политике от две тысячи восьмого года?

— Я люблю слушать детские голоса, — ответил мистер Мидоуз. — Я

словно сам молодею.

Машина молчала, но в ее молчании почему-то было еще больше осуждения, чем в монотонном голосе. Мистер Мидоуз вспомнил про слухи (из стародавних времен, прежде чем все эти вещи настолько вошли в привычку, что их просто перестали замечать), что охранные машины управляются удаленно, центральным компьютером — ни одного человека не задействовано.

— Но я же ничего плохого не делаю, — растерянно сказал он. — Любому приятно посмотреть на играющих детей...

Из машины раздался новый звук, и открылась дверь, обнажив металлическое нутро.

— В машину, пожалуйста, — скомандовал механический голос.

— Но я ничего такого не сделал!

— В машину, пожалуйста, — повторил голос.

Мистер Мидоуз поколебался, потом залез внутрь. Кузов представлял собой небольшой темный железный ящик с крохотным окошком из армированного стекла, скамейкой посередине и решеткой в глубине — для защиты компьютерной системы.

— Если бы у вас был свой ребенок... — сказал голос, и мистер Мидоуз понял, что на водительском месте, по ту сторону решетки, все-таки живой человек — человек с микрофоном и электронной записной книжкой; он поглядел на мистера Мидоуза с отвращением и тайной жалостью, а потом опять отвернулся к приборной доске.

Дверь бесшумно захлопнулась. Машина покатила по дороге, через решетку просачивались золотые веснушки света, и человек на водительском месте не оборачивался, даже когда мистер Мидоуз обращался к нему.

— Куда мы едем? — спросил наконец мистер Мидоуз.

— В Психиатрический центр по исследованию возрастной и психосексуальной дезадаптации.

Они проехали по дороге, через лесок; пересекли главную улицу, где полтора года назад его пес попал под машину; по улицам с рядами одинаковых домов — среди них и его собственный дом — и аллеями одинаковых деревьев. Они выехали из города по широкому шоссе с разноцветными щитами реклам, за которыми время от времени виднелись знакомые, все поглощающие пустыри с бетонными руинами.

Спустя несколько минут они ехали вдоль ряда допотопных зданий. Церковь — ныне закрытая, как и все остальное, из соображений безопасности. Старинный кинотеатр с плоским экраном. Пара книжных

лавок. Остатки парка с качелями и эстрадой, а в самом конце — большое, все еще красивое каменное здание, острые грани смягчены копотью; поблекшая вывеска гласит: «Частная школа Святого Освальда для мальчиков: 1890–2008».

— Вот она, моя школа, — сказал мистер Мидоуз.

Никто не ответил.

Машина мчалась все дальше.

КОЖАНЫЙ МИР АЛЕКСА И КРИСТИНЫ

Этот рассказ написан из чистого озорства. Потому что, даже когда любовь умерла, музыка все еще звучит...

Кристина взяла чашку с чаем, расправила затекшую спину и откинулась на стуле, чтобы полюбоваться собственной работой. Себя не хвалят, но неплохо получается: швы прямые, нигде не сборит, хотя материал очень трудный. Крепкая, ровная строчка. Выйдут отличные, прочные рабочие брюки: может, и необычные, но, без сомнения, очень ноские. Непонятно только, зачем сзади разрез с клапаном.

Хотя какое это имеет значение. Теперь она делала ровно то, что ей говорили, а художественную сторону дела ей обеспечивала Кэнди. Делать, что говорят, — это у Кристины Джонс получалось лучше всего. Воображение — это по части Кэнди.

Они познакомились на собрании группы весонаблюдателей.^[37] Кэнди весила десять стоунов три фунта и хотела похудеть до девяти с половиной стоунов; в Кристине было тринадцать стоунов десять фунтов,^[38] и она, как выражался ее муж Джек, совершенно перестала за собой следить. Она собиралась сбросить как минимум три стоуна, но как-то не получилось; вместо этого она прибавила шесть фунтов и приобрела некое подобие дружеской компании в лице Кэнди, подружки Кэнди по имени Бэбс и талисмана группы весонаблюдателей — Большого Алекса.

Большой Алекс ходил в группу уже года три. Огромный мужчина, который совсем не худел, — его терпели только потому, что рядом с ним даже у самой толстой женщины повышалась самооценка. Кристина не могла понять, что он сам с этого имеет, и решила, что он ходит просто пообщаться. Бэбс работала на обувной фабрике и была готова на что угодно, лишь бы обзавестись мужчиной; Кэнди, разведенка, была «зрелой студенткой»^[39] на факультете текстиля и дизайна в местном политехническом училище.

Кристина ей сразу понравилась.

— Какой красивый свитер, — сказала она, едва Кристина сошла с весов. — Миссони?

Кристина покраснела и призналась, что связала его сама.

На Кэнди это произвело впечатление. Она сказала, что сама не умеет ни шить, ни вязать, зато у нее куча идей и, может, им стоит как-нибудь встретиться и поговорить. Так родилась «вязальная банда», как называл ее Джек. Каждое воскресенье после церкви Кэнди, Бэбс, Кристина и Большой Алекс встречались у Кристины дома, обсуждая вязальные нитки и фасоны. Они все пылали энтузиазмом, но Кристина была технически подкована лучше всех, и впервые в жизни кто-то обращался к ней за советами. Кэнди вязать не умела; Бэбс работала быстро, но небрежно; а Большой Алекс, хотя его гигантские пальцы удивительно бережно обращались с нитками и спицами, вязал слишком медленно, так что ему можно было доверить только самую простую работу.

Но у Кэнди были наполеоновские планы. Ее однокурсница держала маленький магазинчик. За вещи ручной вязки можно было неплохо выручить — даже самый простой свитер стоил от шестидесяти фунтов и выше. Двадцать процентов шло знакомой, еще двадцать — на нитки и прочие расходы, а остальное делилось пополам между дизайнером (Кэнди, разумеется) и рабочей силой (в данном случае — Кристиной).

Сначала Джек невзлюбил эту идею, высмеивал друзей Кристины и ее небольшой приработок. Но потом стали появляться деньги — сначала по несколько фунтов, потом больше, по мере того как усложнялись фасоны и все более необычными становились нити. Кэнди экспериментировала с сочетаниями волокон, с люрексом, резиной, шелком, вплетенными в шерсть. Такими нитками было труднее вязать, не под силу ни Бэбс, ни Большому Алексу, но результаты иногда выходили потрясающие, и законченную вещь брали за восемьдесят фунтов, а порой и за сотню.

Постепенно Кристина заняла самое важное место в «вязальной банде». Она больше не вязала по простым фасонам — этим занималась Бэбс, а доставками, которые становились все чаще, — Алекс. Кристина работала с особыми нитями и, по мере того как доходы все увеличивались, начала брать заказы и на швейные изделия. Иногда — костюмы для современных танцев, спортивные аксессуары, маскарадные костюмы. Попадались очень необычные модели — взять хоть те же брюки с загадочным разрезом сзади, — но Кэнди уверила ее, что это принесет реальные деньги, и, когда Кристине заплатили больше двухсот фунтов за одну вещь — кожаную гладиаторскую юбочку с ремнями и заклепками, для театральной постановки «Юлия Цезаря», Кристина не могла не согласиться. После этого Кэнди предложила совместный бизнес — знакомая станет пассивным партнером и каждый будет владеть третьей частью компании. Юрист составил бумаги. Кристина протестовала — ей не нужна доля в компании,

ведь Бэбс и Большому Алексу платят по часам, — но Кэнди хотела, чтобы все было честно до последнего цента.

— Это будет справедливо, дорогая, — сказала она, когда Кристина поделилась с ней сомнениями. — Ведь ты делаешь большую часть работы.

Крестину это очень тронуло — она знала, что совсем не такая умная и красивая, как подруга, и часто стеснялась своей ущербности. Она подумала, что Кэнди достойна лучшего, а то, что она никогда об этом не говорит, лишь доказывает, какой она хороший человек.

Тут и Джек перестал жаловаться. У Кристины теперь была своя рабочая комната, где стояла промышленная швейная машинка, специально для работы с кожей, и Кристина по большей части проводила вечера именно там, за работой, слушая радио, а Джек все чаще пропадал в спортзале, потому что он в отличие от Кристины за собой следил и сохранил на диво хорошую форму.

Крестину это иногда беспокоило. Не то чтобы она не доверяла мужу, уговаривала она себя, но три часа тренировок ежедневно — это, кажется, все-таки чересчур. Она подумала, уж не изменяет ли он ей, и тут же устыдилась самой мысли. Джек очень мужественный мужчина — его отношение к «вязальной банде» это подтверждает — и нуждается в общении с другими мужчинами. Она уговаривала себя, что ей повезло: заботливый муж с ровным характером и не предъявляет к ней повышенных требований в постели (хотя время от времени мог бы и попытаться, подумала она: слишком джентльменское отношение — тоже перебор). Нет, ей решительно повезло с мужем, подумала она еще раз; может быть, он тоже достоин лучшего.

Но все же, думала Кристина, иногда хорошо, что Джека не бывает дома — когда она работает над особыми заказами. Он никогда не скрывал своей неприязни к Кэнди и заметно презирал Большого Алекса. Кроме того, он ничего не знал о тонкостях работы с кожей — в розничной торговле этому научиться негде, — и Кристина знала, что если он увидит текущий список ее заказов, то непременно отпустит какое-нибудь ядовитое замечание. Правда, комплект был странноватый, но кто-то собирался заплатить за него больше трехсот фунтов, так что, значит, какой-то рынок для этих вещей есть.

Она опять подумала про брюки. Черные, из высококачественной кожи, талия тридцать два дюйма, декоративная вставка. Она так и не поняла, зачем разрез сзади — может, какой-нибудь карман для инструментов, хотя по правде сказать, если человек работает у станка, ему не помешала бы защита получше. Она надеялась, что ничего не перепутала; но это была уже

не первая пара, и до сих пор жалоб от клиентов не поступало. Кроме того, она уже давно не пыталась улучшить модели: с тех самых пор, как непреднамеренно испортила целую партию нижнего белья (для концептуальной балетной труппы, сказала Кэнди), добавив укрепленную ластовицу. Кэнди тогда ее довольно сердито отругала: «Черт возьми, Кристина, если бы клиенты хотели ластовицу, они бы, черт возьми, так и сказали» — так что теперь она только исполняла приказы. «Может, танцорам нужна дополнительная вентиляция — ну, там, внизу, — подумала она. — Тогда, конечно, укрепленная ластовица может вызвать кучу неожиданных проблем. Неудивительно, что Кэнди рассердилась».

Но все равно, думала Кристина, брюки очень необычные. Черная балетная пачка выглядела достаточно традиционно, и корсет к ней как-то подходил, хотя Кристина и не могла бы объяснить почему. Корсет был на косточках (Кристина использовала особо прочные нейлоновые пластины), со шнуровкой на спине, слегка похожий на тот, что носила ее бабушка, хотя, конечно, у бабушки был не кожаный. Может, для человека, у которого проблемы с позвоночником, подумала Кристина, хотя тогда непонятно, почему он не обратился по линии национального здравоохранения.^[40] А это-то что за штука? Не совсем шляпа; по правде сказать, под определенным углом больше похоже на маску, хотя как в этой маске видеть, если нет никаких прорезей для глаз? Кристина неодобрительно покачала головой. Чего только этим современным танцорам в голову не придет. Чем, спрашивается, им не угодило «Лебединое озеро»? Или «Щелкунчик»?

И все же, подумала она, работать с этими материалами почему-то очень приятно. Маслянистая кожа, шелк, заклепки, тюль. Она всегда любила рукодельничать, но в последнее время уделяла этому занятию больше времени, чем всегда, и не только потому, что Джек не бывал дома. Нет, ей нравилась сама работа — в ней что-то словно откликалось на кожу, гораздо громче, чем на вязку и свитера. Во время работы к ней начали приходить очень странные мысли — она словно грезилась наяву. Ей грезилось, что она сама облачена в эти странные одежды, роскошная текстура касается ее кожи, а может быть (при этой мысли она моргнула), она даже выступает в них. И в этих грезах одежда предназначалась не для танцев, вопреки словам Кэнди, не для больной спины, шекспировских постановок или работы в саду, но для чего-то другого — внушающего благоговейный трепет, загадочного, исполненного силы. Кристина грезилась, виновато сгорбившись над швейной машинкой и чуть заметно улыбаясь; и в мечтах она становилась кем-то другим — высокой, одетой в кожу женщиной с решительной походкой; женщиной, которая *никогда* не делает,

что ей говорят; женщиной, облеченной властью.

Размечталась, подумала она, укладывая в коробку законченные вещи. Она без согласия Джека и пиццы не закажет; никогда не принимает никаких решений по работе, не посоветовавшись сначала с Кэнди. Кристина Джонс была прирожденной последовательницей, ученицей, вечной помощницей, рабочей пчелой. В этом нет ничего плохого, говорила она себе, не всем же быть застрельщиками и заводилами. Но все же эта мысль ее угнетала, как и грызущая уверенность, что она что-то проглядела — что-то совершенно очевидное, ну, как если выйдешь из туалета с прилипшим к туфле кусочком туалетной бумаги и пойдешь, ничего не замечая, а все над тобой смеются украдкой.

Когда Кристина привезла коробку Большому Алексу, было восемь вечера. Он, как обычно, словно ждал ее прихода, потому что открыл дверь сразу и круглое лицо расплылось в счастливой улыбке.

— Кристина! Я так и думал, что ты будешь сегодня. Заходи, попьем чайку.

Она заколебалась.

— Алекс, я не знаю. Вдруг Джек вернется...

Алекс заметно приуныл, и Кристине стало его жалко.

— Ну хорошо, только ненадолго.

Дом Большого Алекса был бы маловат даже для мужчины средних размеров. Для Алекса он был крохотным, и Алекс передвигался в нем, как крупный щенок в викторианском кукольном домике. Он налил Кристине чаю в почти кукольную фарфоровую чашечку, держа ручку чайника большим и указательным пальцами.

— Печенья?

— Ой, Алекс, лучше не надо.

— Да брось, подружка. Тебе удобо не пойдет.

Кристина улыбнулась и взяла печенье с кремовой прослойкой. Алекс помогал ей почувствовать себя хрупкой, словно фарфор, несмотря на все ее четырнадцать стоунов. И вовсе он не похож на «бурдюк жира», как однажды злобно обозвал его Джек, — скорее на очень мягкое большое кресло, бесформенное, но удобное.

— Вижу, ты закончила тот заказ. — Он кивнул на коробку.

— Да. Можешь завтра доставить.

— Лады.

Кристине показалось, что Алекс чем-то расстроен; интересно, видел ли он выкройку, и если да, то что подумал.

— Странные вещи какие-то, — сказала она. — Но если люди их

покупают...

Она заметила, что на Алексе свитер, который она связала ему на прошлое Рождество: зеленый, со снежинками.

— Тебе очень идет, — сказала она.

Он чуть покраснел.

— Мой любимый свитер.

Кристина засмеялась.

— А Джек не носит моей вязки. Говорит, это как из бабушкиного сундука.

— Козел твой Джек!

Это было так неожиданно, что Кристина не поверила своим ушам. Большой Алекс никогда не ругался. И за все время, что Кристина его знала, он никогда не сказал ни о ком ни одного плохого слова.

Алекс тут же ужасно покраснел, словно понимая, что зашел слишком далеко.

— Прости, подруга, — сказал он. — Сам не знаю, чего это я.

Но удивленная Кристина не сводила с него глаз.

— Что-то случилось?

Алекс, пряча взгляд, покачал головой.

— Алекс?

Пауза.

— Алекс!

Пока он говорил, сначала запинаясь, потом все увереннее, Кристина налила себе и ему еще чаю. Все было до странности очевидно: Кэнди, достойная лучшего; Джек, достойный лучшего; она сама, с ловкими пальцами и отчаянно неповоротливыми мозгами; пока она трудилась за швейной машинкой, ее подруга отработывала свои двадцать пять процентов, трудясь над ее мужем. И оба жили припеваючи. Джек и был тем самым «пассивным партнером», третьим совладельцем компании; никакой подруги с магазинчиком одежды не было, но был сайт в Интернете, куда, как совершенно точно знали Джек и Кэнди, Кристина никогда не отважилась бы забрести.

— И это ни для каких не для танцев, верно? — спросила Кристина, когда он умолк.

Большой Алекс покачал головой.

— Это для... — она поискала нужное слово, — эротики? Вот что мы продаем? Игрушки для секса? Костюмчики с вывертами?

Он мог и не отвечать. У него на лице все было написано.

Кристина взяла еще одно печенье. Она была странно спокойна; она

столько раз воображала измену Джека, но совсем по-другому представляла свою реакцию, если — точнее, когда — это случится. Но вместо этого она поймала себя на мысли, какие хорошие глаза у Большого Алекса: хорошие, добрые.

— Где они сейчас? — наконец спросила она.

— У Кэнди, — ответил Алекс.

— Отлично. Поехали.

Когда они доехали до дома Кэнди, было уже почти девять. В спальне наверху горел свет, и Кристина вошла без звонка — она знала, что Кэнди никогда не запирает двери. Большой Алекс последовал за ней, вверх по лестнице, в спальню.

Простыни были из алого шелка; стены — в основном зеркальные. Кристина с некоторым удивлением заметила, что у Кэнди на ногах целлюлит, несмотря на все ее диеты. Джек лежал ничком, словно у него очень сильно болел живот. Кристина так давно не видела его раздетым, что он показался ей незнакомцем.

— Господи, Кристина...

Он попытался встать, но наручники — во всяком случае, они выглядели как наручники, несмотря на мех и перья, — не дали. Она всегда думала, что Джек не интересуется сексом. Теперь она поняла, что он не интересуется сексом конкретно с ней: то, что на нем было надето, и разнообразные предметы, разложенные на тумбочке, говорили о богатом сексуальном опыте и смелой фантазии.

— Послушай... — произнес он.

— Так вот, значит, как они выглядят в надетом виде, — сказала Кристина. — Талия тридцать два дюйма, верно? У тебя скорее тридцать четыре.

Да, это была ее работа: она узнала бы эти вещи и с закрытыми глазами. Черные, кожаные, с декоративной вставкой, заклепки по шву. И конечно, разрез. Кэнди — в шнурованных сапогах и тех самых трусиках с вентиляцией — устала на нее, разинув рот.

Более жестокой измены не бывает. Такая пошлость — муж и лучшая подруга, изображали взаимную неприязнь и при этом встречались прямо у нее под носом, и этот обман придавал их связи особую остроту. Кристина подумала о себе: как сидит за швейной машинкой, погружившись в свои маленькие грезы, — *«Кристина, бедная дуручка, думает, это для танцев. Если ей показать вибратор, она и не поймет, что это»*, — а Джек с Кэнди играют в свои игры и хохочут до упаду при мысли о своей хитрости и испорченности.

Кристина поняла, что ее, как ни странно, злит больше всего не сам факт измены, а то, что они занимались этим в ее вещах — в *ее* вещах, которые она создавала так любовно. *Только представь Кристину, одетую вот в это!* Призрачный смех в темной комнате. Как они, должно быть, хохотали! Ничего, подумала Кристина, есть же пословица: «Хорошо смеется тот...» И внезапно, неожиданно заулыбалась.

— Кристина, — сказал Джек. — Я думаю, нам надо поговорить.

Но Кристина уже отвернулась. И только Большой Алекс, который стоял в дверях, видел ее опасную улыбочку.

На тумбочке у кровати она нашла еще пару наручников со страусиными перьями, а также цифровой фотоаппарат и большой моток широкой черной изоленты. Кристина не сразу разобралась, как обращаться с фотоаппаратом, но потом все оказалось очень просто. Она сфотографировала парочку с разнообразных ракурсов, порой прерываясь, чтобы поправить складку ткани или разгладить морщинку на мягкой коже. Она радостно подумала, что они так хорошо смотрятся вместе; и выглядят отлично, почти как профессиональные модели...

— Я хочу разделить бизнес, — сказала она, осторожно пряча фотоаппарат в карман. — Моя доля — и половина доли Джека, разумеется, — у меня будет хорошенький стартовый капитал.

Она посмотрела вниз, на мужа, который, побагровев, извивался на кровати. Она чувствовала себя в своей стихии — в кои-то веки, — хотя еще не до конца прочувствовала привлекательность всех этих аксессуаров. Но все же, подумала она, в жизни надо все попробовать хоть по разу.

— Я, наверное, буду продавать через интернет, — задумчиво сказала она. — Раз это до сих пор работало. И кроме того, — она пригнулась к Кэнди и Джеку, разматывая связывавшую их черную изоленту — очень жалко будет, если такие замечательные фотографии пропадут зря, правда?

— Ты не посмеешь, — гневно ахнул Джек.

— Ну почему же, — ответила Кристина.

— Как? В одиночку?

Она посмотрела на Большого Алекса.

— Не совсем, — ответила она.

Большой Алекс посмотрел на нее, словно не до конца поняв услышанное.

— «Кожаный мир Алекса и Кристины». Неплохо звучит?

Алекс ухмыльнулся и покраснел. Потом обнял ее, сияя глазами. Мгновение Кристина блаженно задыхалась в его объятиях, наслаждаясь роскошным ощущением близости кого-то очень большого — кого-то, кто

весит гораздо больше нее. Алекс излучал определенную чувственность, несмотря на свои габариты, а может быть, и благодаря им; ощущение текстуры, напомнившее ей вечера за швейной машинкой, — минус одиночество. Это было настоящее откровение. Она подняла глаза и увидела, что он тоже на нее смотрит, и в его шоколадно-карих глазах пляшут огоньки. Ее сердце стучало, как швейная машинка. Она с усилием высвободилась из его объятий и повернулась к тумбочке, зная, что у них еще будет время насладиться друг другом; зная, что надо сделать еще одну вещь, связать последнюю разорванную нить.

— Вы, дебилы, отпустите меня наконец или нет? — спросил Джек, безуспешно пытаясь сохранить достоинство в черной коже и перьях марабу.

— Чуть позже, дорогой, — ответила Кристина, беря с тумбочки предмет и с улыбкой подходя к кровати.

Она все еще не очень понимала, что это за штука и как именно ее используют, но знала, что как-нибудь разберется, раз уж догадалась, для чего нужен разрез на брюках.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД В ДОГТАУН

Люди часто спрашивают, откуда я беру идеи. Я бы сказала, что гораздо более насыщенный вопрос — куда они потом деваются. Я начала писать этот рассказ на гостиничной писчей бумаге, в обшарпанном номере мотеля в Джорджии, во время последнего «книжного тура» по Штатам. Закончила я его спустя две недели, в поезде. Ехала я не в Догтаун, но все равно в итоге оказалась там.

У Нила К. выдался насыщенный вечер. На церемонии вручения наград было не меньше тысячи человек да на пресс-конференции пятьдесят, а после этого надо было еще подписывать книги, трясти чужие руки, улыбаться камерам и поклонникам. Чертова публика, подумал он, когда поезд, слегка дернувшись, встал. Не успокоятся, пока всю кровь из тебя не выпьют.

Конечно, этого следовало ожидать. Ему тридцать два; он фотогеничен; его книги выходили в сорока странах и принесли ему кучу премий, да еще два фильма, которые его озолотили и которых, по его собственному утверждению, он ни разу не смотрел. Короче говоря, в издательском мире он был вроде Святого Грааля: настоящий литературный феномен и притом знаменитость.

Конечно, ему пришлось ради этого потрудиться. Когда он наконец представил на суд публики роман, тот потряс критиков своей зрелостью, обаял читателей скупостью изобразительных средств и шармом. Роман был вычитан вдоль и поперек, так что не осталось ни одного лишнего слова; слишком вычурные мысли убраны; все записные книжки сожжены, юношеские пробы пера преданы огню; все следы подросткового бунта или неловкости вычищены. Долой наречия и эпитеты, долой напыщенность восклицаний и гипербол. Его стиль был воплощением чистоты. Лощеный. Современный. Разумеется, как и сам автор.

К. выглянул в темноту. Непонятно, где остановился поезд, но это точно не Кингз-Кросс. В нескольких ярдах впереди был семафор, на котором застыл красный свет. В тусклом свете К., кажется, различал платформу, деревья, смутные очертания бледного деревянного фронтона с нелепой резьбой под пряничный домик. Было абсолютно тихо, даже двигатель умолк: пол вагона не вибрировал. Потом, внезапно и с какой-то необъяснимой окончательностью, в вагоне погас свет.

Первой мыслью К. было, что это сбой в электросети. Должно быть, какая-нибудь авария произошла — короткое замыкание или, может, пропал сигнал, и сейчас придет проводник с извинениями и объяснениями. Как бы то ни было, К. уже заготовил несколько резкостей — он все выскажет проводнику, когда тот придет; его издатели не для того оплатили путешествие первым классом, чтобы он сидел тут в темноте, как чемодан в бюро находок.

Но время шло, а проводник не появлялся. К. вынул мобильный телефон; дисплей сообщил ему, что сейчас без пяти одиннадцать, батарея полностью заряжена, но сеть здесь не ловится. Наконец К., которому становилось все более не по себе, встал и начал пробираться в хвост поезда.

Поезд был пуст.

Должно быть, они про меня забыли, решил он. Бросили состав на запасных путях, думая, что все пассажиры вышли. Окончательно разозлившись, К. открыл дверь и увидел безлюдную платформу. Стоянки такси в такой глуши наверняка не окажется, но будет деревня или хотя бы дорога и какое-нибудь место, откуда можно будет вызвать такси. В любом случае, идея идти по путям ему не нравилась, а больше ничего не оставалось — разве что провести ночь в пустом поезде. Может, если выйти из-под деревьев, телефонная связь появится.

Он обернулся и бросил прощальный взгляд на семафор. На нем все еще горел красный. Чуть ниже можно было разглядеть табличку с надписью «ДТ1», а еще ниже — доску с надписью от руки, слабо, но различимой: «ДОГТАУН».

Название показалось К. отчасти знакомым, но он не мог вспомнить почему. Может, это из какого-нибудь старого фильма? Наверное, дети играли в ковбоев и индейцев вокруг заброшенных зданий и повесили эту дощечку. Треугольный фронтон действительно навевал мысль о вестернах, и при дневном свете детям здесь, должно быть, настоящее раздолье для игры — старые поезда, заброшенные пути, лес. Заурядным детям, во всяком случае. Нил К. был слишком развит, чтобы играть в ковбоев.

И тут он вспомнил. За десять лет до рождения Нила К., когда у него еще была фамилия, а также полный ящик записных книжек, он написал рассказ, вестерн — как же он назывался? Что-то про поезда. «Большой поезд в...» Нет, «Последний поезд в...»

Он с досадой отбросил эту мысль. Не важно, как там назывался рассказ. Тех записных книжек больше нет, а вестерн как таковой давно умер. Для публики Нил К. все равно что родился двадцатипятилетним.

Старую жизнь он отбросил вместе с фамилией и всем написанным раньше: рассказами о привидениях, стихами, космическими операми, фэнтези — юношеским мусором, о котором стыдно вспомнить. А вывеска — простое совпадение. «Догтаун», подумать только. На редкость дурацкое название.

От дальнего конца платформы вела тропа, и К. прошел по ней ярдов двести, а тень его скакала перед ним по неровной земле. Деревья за станцией оказались соснами, они пахли сильно и едко. В подлеске шуршали и трещали мелкие твари. Издалека слышался вой.

К. уже было решил вернуться в поезд — там, по крайней мере, можно спать, и надо полагать, что локомотив утром куда-нибудь отгонят, — когда увидел за соснами свет и деревянные дома, стоящие вдоль неширокой дороги. Он потрусил к свету и увидел, что здания составляют поселок — они выстроились вдоль главной улицы, а в середине был маленький пруд. Слабо пахло лошадьми — вероятно, поблизости была ферма.

Приблизившись, К. увидел, что окна самого большого дома ярко освещены. Через открытую дверь просачивались слабые звуки пианино; с кровли свисала вывеска. Паб, подумал К. с неожиданным воодушевлением. Вот это больше похоже на дело.

Он вошел. В единственном зале было людно. За столом в углу шла игра в карты; другие посетители беседовали, пили и слушали музыку. Лысый мужчина в очках в форме полумесяца играл на пианино — сильно расстроенном, особенно на высоких нотах. Несколько женщин с замысловатыми прическами, в низко вырезанных платьях сидели у стойки бара. Одна, яркая крашеная блондинка, вроде бы узнала его и улыбнулась. Остальные пьющие были в основном мужчины, и только теперь он обратил внимание, что они одеты в джинсовые рубашки, кожаные жилеты и ковбойские сапоги. Вечер вестерна, подумал он. Танцы в линию и все такое. Очень популярно в провинции.

Бармен кисло глянул на К., когда тот заказал пинту пива. Пиво неизвестного сорта — «Хромой пес» — было слабым и слегка солоноватым, но К. быстро выпил его и попросил еще. Он знал, что посетители наблюдают за ним, но не оборачивался: его лицо было достаточно известно, чтобы его узнавали и за пределами Лондона, а сейчас ему только толпы поклонников не хватало.

Вместо этого он обратился к мрачному бармену.

— Скажите, пожалуйста, как называется это место? — спросил он, стараясь перекрыть брнчание пианино.

Тот пожал плечами и произнес что-то невнятное.

К. повторил вопрос. Но бармен как будто не услышал.

— Не обижайтесь на Джейкера, — сказали за спиной у К. — Он просто зол, что остался без развязки.

То была яркая блондинка, которую он заметил раньше: женщина лет сорока пяти, с утомленным видом; при других обстоятельствах и при правильном свете К. мог бы счесть ее привлекательной.

— Позвольте вас угостить?

— Спасибо.

Она была странно знакома К., хотя из-за этого костюма он никак не мог вспомнить, где ее видел. Может, сотрудница дружественной пиар-службы, или официантка, или поклонница... Ни один вариант не подходил, и все же она смотрела на него с восхищенным узнаванием, которого К. научился бояться, будто говорила: «Привет, Нил! Это я! Не узнаешь?» Словно он обязан был помнить каждого из десятков тысяч людей, встреченных за последние десять лет.

Он улыбнулся особенно чарующе и сказал:

— Простите меня, я точно знаю, что мы знакомы, но у меня просто ужасная память на имена.

Дама растерялась.

— Я Кейт, — ответила она. — Кейт О'Грейди, неужели вы меня не помните?

Может, и вспомнил бы, если бы только не этот ужасный деланный американский акцент, подумал К. Тематический вечер тематическим вечером, но он не обязан ее узнавать в этом маскараде...

— Ну конечно, Кейт! — воскликнул он, улыбаясь во весь рот. — Как я мог забыть! Просто день был дико утомительный, а ты же знаешь, что память у меня не очень...

— Да уж, Нил, знаю. Мы все знаем.

Она засмеялась, словно удачно пошутила. Потом опять взглянула на него, и у нее вытянулось лицо.

— Ты правда не помнишь, да? — спросила она, — Столько времени прошло, ты, наверное, и других не узнаешь, но я думала, что меня-то ты вспомнишь.

Боже, неужели он с ней спал? Вряд ли, но она сморщилась и, кажется, готова была заплакать.

— Конечно помню, Кейти, — тепло сказал он. — Но у меня был паршивый день, а ты в этом костюме и все такое...

Он стал пить соленое пиво, надеясь, что теперь она отстанет.

— Кстати, костюм очень красивый. Тебе идет. Вечер вестерна, да? Слушай, здесь есть телефон? Мой мобильник не работает, а я хотел

вызвать...

К. осекся, внезапно осознав, что пианино умолкло. Он понял, что воцарилась тишина и все глаза устремились на него, и на всех лицах было одно и то же выражение — голодное, неотвязное.

— Он не узнал Кейти, — пробормотал мужчина в красной клетчатой рубашке.

— Не узнал Кейти? — недоверчиво повторил пианист, и К. впервые заметил, что все посетители паба вооружены.

— Слушайте, здесь есть телефон?

К. знал, что оружие не настоящее, но атмосфера в пабе — или это салун? — его почему-то начала пугать. Он знал, что жители глухих мест часто не любят лондонцев; они завидуют его внешности, успеху. Казалось, многие посетители вот-вот бросятся на него, и, конечно, никто — ни его издатель, ни кто-либо из его друзей — не знает, где он.

— Телефон?

— Да. Мой мобильник не работает, а мне надо позвонить...

— Не-а, нету, — сказал человек в красной рубашке.

— Тогда, может быть, кто-нибудь одол...

— У нас в Догтауне звонить нечем.

Кажется, они немножко чересчур увлеклись, изображая вестерн, подумал К. А текст их реплик чудовищен: словно дешевый фильм халтурно перевели с испанского. И все же в этом было что-то ужасно знакомое. Поезд, бар, женщина — да, он ее помнил или, по крайней мере, понял, почему она так знакома, — Кейт О'Грейди, хозяйка единственного салуна в Догтауне, из старого, полузабытого рассказа.

— Может быть, вы не знаете, кто я, — нервно сказал К.

— О нет, прекрасно знаем, — ответил мужчина в красной рубашке. — Вы Нил Кеннерли.

— Кеннерли?

Да, когда-то, давным-давно, его так звали. Но он выбросил это имя вместе со всей прежней жизнью, с записными книжками, рассказами, фильмами и комиксами. Он мог бы поклясться, что про Нила Кеннерли никто не знает — впрочем, точно так же он был уверен, что никто не знает про «Последний поезд в Догтаун».

Посетители за его спиной смыкали ряды. Кто-то шепотом произнес его имя — с благоговением, любопытством и каким-то еще чувством, которое он затруднялся определить. Нетерпение? Возбуждение? Жадность?

Вот пианист сунул руку в карман и вытащил затрепанный блокнот. Молча протянул его К.; лицо блестело от пота, рука чуть дрожала. Потом то

же сделал мужчина в красной рубашке; потом одна из женщин, сидевших у стойки; альбинос, уронивший карты, мужчина в шляпе-котелке — все протягивали ему клочки бумаги, огрызки карандашей; в плоских блестящих глазах жадно пылала надежда.

— Чего вам надо? — спросил К.

— Вашу подпись, сэр, — робко сказал пианист.

— Да, подпись, — сказал человек в шляпе-котелке. — Остальное мы написали себе сами. Мы ждали.

— Ждали? — спросил К.

Бармен кивнул.

— Ждали? — тихо повторил К.

Бармен поглядел на него.

— Очень долго ждали, мистер Кеннерли, — медленно сказал он. — Слишком долго.

К. молча, не веря своим глазам, оглядел салун. Теперь он всех узнал: бармен — Джейкер; пианист — Сэм Удар Левой; альбинос — Белесый Смит; в красной рубашке — Пасадена Кид (самый быстрый револьвер на всем Западе)... Может, это одержимые поклонники решили устроить в его честь что-то вроде инсценировки? Неужели они каким-то образом добрались до его рассказа (во времена Интернета все возможно), а это у них что-то вроде слета?

Надо убираться отсюда. Какая-то извращенная попытка почтить его литературное творчество, или совпадение, или что-то еще — в любом случае, это уже слишком. Он лучше рискнет выйти в ночь — наверняка где-нибудь поблизости есть телефон. А если и нет, даже спать в поезде лучше, чем это.

— Далеко собрались? — Мужчина в красной рубашке; память услужливо подсунула этикетку «Пасадена Кид».

— Слушай, приятель, я не знаю, что здесь происходит, но...

Пасадена Кид положил руку на револьвер.

— Вы никуда не пойдете, мистер Кеннерли, — сказал он. — У нас с вами еще кой-какое дельце.

— Ну ты не очень-то, — неуверенно сказал бармен. — Помнишь, что шериф сказал?

— Джейк, не лезь, — ответил Кид. — У меня брату легкое прострелили, я имею право знать.

— Верно, — сказал альбинос. — А я хочу знать, найду ли я когда ту заброшенную шахту с золотом.

Их поддержали другие:

— Да, мистер Кеннерли. Мне надо знать...

— Я найду тех, кто застрелил моего отца?

— А что те индейцы?..

— А поезд?

К. и раньше случалось выдерживать осаду поклонников, но никогда — в таких масштабах, никогда — такую отчаянную. Его хватали за рукава, на него дышали виски и пивом. Люди придвигались ближе, вытянув руки, в каждой — клочок бумаги, записная книжка, карандаш, мелок. К. утопал в обрывках бумаги и потрепанных блокнотах.

— Подпишите, мистер Кеннерли...

— Я обычно не даю автографов, — пятясь, отвечал К.

— Пожалуйста...

— Мне нужно... я хочу...

— Оставьте меня в покое! — заорал К. — Я полицию позову!

Ему показалось, что при упоминании полиции охотники за автографами самую малость осадили назад. Но на покрасневшихся лицах было лишь замешательство — не страх. Сэм Удар Левой уставился на него, разинув рот — зубы как деревянные колышки. Белесый Смит все протягивал ему выдранную из блокнота страницу и, казалось, вот-вот готов был расплакаться.

Кейт О'Грейди наблюдала с легким презрением.

— Ты и правда не знаешь? — спросила она. — Ты не понял, что это за место? И кто мы такие?

— Откуда мне знать? — ответил К.

— Оттуда, что мы здесь из-за тебя, Нил. Ты нас создал. Мы — твои отходы производства, твои провисшие сюжетные ходы, куски, не дожившие до окончательной редакции. Мы — герои твоих незаконченных рассказов, третьестепенные персонажи, эпизодические роли, которые ты вычеркнул или забыл, к которым потерял интерес, в которых разочаровался. Вот это все, — она обвела рукой вокруг, — это Догтаун, из старого вестерна, который ты так и не дописал. Вон там, — она неопределенно махнула на юг, — твои «Пираты с планеты пятьдесят один». А там, — она показала в другую сторону, — твой «Опасный город» и каннибалы, которых ты создал в девять лет. Сейчас они уже просто жуть до чего проголодались. Если пройти Догтаун насквозь и идти дальше, наткнешься на Динозавровое болото или на инопланетянок в серебряных набедренных повязках из «Космо, повелителя ракет», а в лесу бесцельно бродят вычеркнутые тобою наречия, лишние реплики, затерянные герои — пешки в твоих играх. Мы все, кого ты обошел, когда связывал сюжетные нити, мы ждем, когда

настанет наш черед и ты о нас вспомнишь.

К. уставился на нее:

— Не может быть. Вы все тут ненормальные.

— Ты послушай сам себя, — неумолимо сказала Кейт. — Диалог из второсортного фильма, из тех, что ты все время смотрел. Нил, неужели ты не узнаешь собственные штампы?

К. на минуту задумался. Может, лучше им подыграть, подумал он. Пусть они и сумасшедшие, но их слишком много, он не сможет силой пробиться на волю, и, кроме того, он не умеет драться. Чуть дрожащей рукой он стал подписывать пустые страницы, засаленные блокноты.

— Но почему я? — спросил он наконец.

— Очень просто, — ответил Сэм Ударевой. — Мы хотим выбраться из Догтауна. Шериф нас злобно тиранит. Нам надо отсюда выбраться.

— Но я-то вам зачем?

Кейт начала терять терпение.

— Потому что ты единственный, кто выше его по рангу. Ты его написал, и только ты можешь помочь нам его вычеркнуть.

— Вычеркнуть?

— Ну конечно. Нам нужна развязка. Путь домой. Счастливый брак. Что угодно. А то Кейт О'Грейди так и будет все время околачиваться в «Золотом фургоне», вытирать кровь с рассеченной скулы героя и заманивать своими ласками безжалостного, жестокого шерифа, отвлекая его от злых дел. — Она пожала плечами. — Можешь считать меня привередой, но я совсем не так представляла себе свое будущее.

— Ох.

— А что до шерифа, то ему как раз никакая развязка не нужна. Ему выгодно существующее положение вещей. Он знает, что таким, как он, счастливый конец не светит. — Она повернулась к остальным, которые все еще стояли вокруг К. с карандашами наготове. — Ну давайте же. Чего вы ждете? Шериф явится с минуты на минуту.

К. покачал головой:

— Неужели ты думаешь, что я в это поверю? Это совершенно нелепо.

— Мне все равно, поверишь ты или нет. Мне нужна твоя подпись.

— Но я все-таки не понимаю, зачем...

Кейт нетерпеливо взмахнула рукой.

— Затем, что твоя санкция придает нам силу. Потому что твоя подпись...

Тут она увидела что-то за спиной у К. и замолчала, сжав блокнот в кулаке так, что побелели костяшки. Она схватила карандаш и принялась

писать.

Послышался громовый раскат, и Кейт упала — на корсаже с оборочками внезапно расплылось страшное красное пятно. В наступившей тишине К. услышал неторопливые шаги и понял, даже не оборачиваясь, что это Одноглазый Логан (безжалостный, жестокий), шериф Догтауна.

— Ого, поглядите-ка, кто к нам приехал. Наш лучший друг, писака.

К. медленно поднял глаза. Он увидел обветренное лицо, окаймленное жесткой седой щетиной, и допотопную кожаную куртку, на которой мерцала серебряная звезда. Единственный глаз — другой скрывался за кожаной повязкой — был похож на камушек. На груди, на патронташе, висели тетрадь в красном сафьяне и потрепанный толковый словарь в мягкой обложке. Револьвер в правой руке еще дымился.

— Кейти! — закричал бармен Джейкер.

Его лицо исказилось безумной яростью и скорбью. Он схватился за блокнот, но противник его опередил, и Джейкер, хватаясь за грудь, упал в вихре окровавленных опилок.

У бара нерешительно стоял Пасадена Кид, рука его застыла на полдороге к карману куртки.

Шериф похлопал по своей тетради:

— Не стоит, Кид. Я держу тебя под прицелом.

Кид оценивающе глядел на шерифа.

— Брось оружие, — сказал шериф. — Аккуратно, медленно.

Кид опустил глаза, словно повинуюсь. Потом, так быстро, что шериф едва успел заметить, он вытащил блокнот и ручку.

В третий раз раздался раскат грома и из дула вылетело пламя.

Шериф перевернул тело носком ботинка.

— Ты был быстрым, Кид, — задумчиво сказал он. — Иные говорили, что ты достаешь оружие быстрее всех в Догтауне. Я бы лично всех и так доставал, без оружия, но приходится использовать то, что есть, а? Игра кончена, ребята, — обратился он к посетителям бара. — Руки вверх. И без фокусов: если я хоть карандашный огрызок увижу у кого-нибудь, стреляю сразу насмерть. Всем ясно?

Догтаунские мятежники мрачно закивали и принялись один за другим ронять на землю блокноты и карандаши.

— Отлично, — сказал шериф, продолжая держать их под прицелом. — А теперь, мистер Кеннерли, сэр, — или вас нынче по-другому зовут? У нас с вами есть неоконченное дельце.

Но К. не мог отвести взгляд от лежащих на полу тел. Без сомнения, они были мертвы: пахло кровью и фейерверками, а искаженные лица и

изуродованные конечности были совсем не такие, как у убитых в вестернах, которые он смотрел мальчиком.

— Вы их убили, — потрясенно сказал он. — Вы их в самом деле убили.

Шериф пожал плечами.

— Я защищался, — ответил он. — Я читал книги. Я наводил справки. Я знаю, что случается в третьем акте с парнем в черной шляпе. А мне тут нравится, мистер Кеннерли. Я люблю быть главным. И не собираюсь позволить какому-нибудь грошовому писаке вычеркнуть меня из сюжета, нет, сэр.

Он медленно наставил револьвер на К.

— Хлеба и зрелищ, так, кажется, говорил тот древнеримский тип? Народ надо держать сытым и развлекать? А если уж напрямую, развлечение — важная часть и вашего бизнеса, мистер Кеннерли, и моего, верно, сэр?

К. слабо кивнул.

Шериф улыбнулся.

— Видите, какая у меня проблема, — сказал он. — Вы меня оставили за главного, сэр, и очень нечестно, что вы теперь вернулись через двадцать лет и хотите все забрать назад. Это нечестно, неправильно, и я этого не потерплю. Кроме того, — сказал шериф, открывая красную тетрадь, — я жестокий и безжалостный, таков уж я есть, это я хорошо умею и собираюсь и дальше продолжать в том же духе.

— А что же будет со мной? — спросил К., не сводя глаз с наставленной на него тетради.

Одноглазый скромно улыбнулся.

— Я думаю, довольно уже стрельбы, — сказал он. — Но все равно, сэр, вы должны сами понимать, что я не могу вас отпустить, слишком рискованно. Я не хочу сказать, что управлюсь лучше вас, но я буду стараться изо всех сил, будьте покойны.

— Я не понимаю, — сказал К.

— Прекрасно понимаете, — сказал Одноглазый, слюнявя кончик карандаша. — Так или этак, а развязка должна быть. Как все эти ребята и говорили. Свадьба, похороны, черт возьми, да прорва разных вариантов, сэр, и я надеюсь, что вы доверите мне сделать правильный выбор. По правде сказать, — шериф заскромничал, и его обветренные щеки чуточку зарделись, — я тут кое-что набросал, что можно попробовать прямо сейчас, просто чтоб посмотреть, как оно выйдет. Вздернуть флаг, если можно так выразиться, и посмотреть, кто ему отсалюует.

У К. настолько пересохло в горле, что он не мог ничего сказать и лишь еще раз слабо кивнул.

Шериф был явно доволен.

— Я рад, что вы к этому так разумно подходите, сэр. И я знаю, вам понравится моя задумка.

— Какая? — тихо-тихо спросил К.

— Ну... Можете называть меня консерватором, но старые добрые сюжеты — они всегда хороши, верно? Кроме того, людям на пользу, когда им есть чего ожидать с нетерпением. — Он ухмыльнулся, и К. опять показалось, что он чуточку покраснел. — Скажите мне, что вы об этом думаете, сэр. Я, конечно, уважаю ваше мнение. Но мы в Догтауне... Жизнь тут тяжелая, развлечений мало, и я думаю, все со мной согласятся, что давненько мы уже никого не вешали.

ФАКТОР И-СУС

Герой «Ежевичного вина» неспособен оставаться на уровне, которого достиг в своем первом романе, и вновь скатывается к писанию второсортной фантастики ради куска хлеба. Его псевдоним — Джонатан Уайнсен, и он из тех людей, которые никогда не станут взрослыми. К счастью, я точно такая же.

«Смерть каждой жизнеформы уменьшает и меня, ибо я часть Жизнества».

«Жизнекредо Самости», ок. 2141. Стих 363. Две тысячи повторений ежедневно в первые двадцать лет жизни. Думаете, я помню их все? Черта с два.

«Единственное благо — общее благо». Еще один. Двадцать пять тысяч повторений на сегодняшний день, а будет больше. «Блаженны страдающие во имя Мое, ибо их занесут в Вечную Базу Данных Спасения».

Говорят, в чужую голову не залезешь.

Фигня.

В мою влезали уже столько раз, что живого места не осталось — все всмятку, вкрутую, разобрано, собрано, психосканировано, замескалинено, восстановлено кортисинтом и гиперталамусом и в целом затрахано до смерти. Может, ты мне вообще только кажешься. Может, я совсем с катушек съехал. Знаешь, они и это могут, заставить человека чокнуться, ненадолго, все в рамках Великого Эксперимента Самости, кто знает, может, теперь и до этого дойдет, да какого черта, бывало и хуже.

Не веришь? Слушай, я уже побывал калеккой (чтобы лучше изучить себя в состоянии беспомощности), шлюхой, практикующей садо-мазо (чтобы развить женственную сторону своей души), солдатом (чтобы научиться доверять чужому авторитету) — и это еще только нормоформы. Плавникоформы, нольживущие акваформы — полмили от носа до хвоста, метанодышащие ксеноформы, я всех перевидал, всеми перебивал. И знаешь, что я тебе скажу?

Фигня. Всё фигня.

А может, они хотели как мне лучше. Если въехать на небоцикле в неподвижный объект со скоростью триста двадцать в час, от тебя мало что останется. Или это тоже была программа Самости? По временам я даже этого вспомнить не могу. Хотя нет, если подумать, на такое они не

способны. Слишком уж весело.

«Страдайте во Мне. Страдайте со Мною. Лишь в страдании обряцете Спасение. Царство Разума — лестница к звездам». Постхиппозная дребедень чистейшей радости и блаженства, которую закачивают мне в мозги в соответствии с тщательно рассчитанной скоростью ассимиляции на такой частоте, что даже мой мозг не в состоянии ее отключить. Чувствоусилители, чтобы подавить сопротивление. И настоящая программа ЖизнеСам — одна из многих тысяч, — чтобы вычислить, насколько я просветился (в процентах). Только вдумайся, сестренка. Или кто ты там.

Дело все в том, что серые клеточки нынче в дефиците. Даже такие хреновые, как мои, все равно идут в очистку и на второй круг. Двадцать лет назад — хотя время сейчас мало что значит — мы что-то такое сделали, только не спрашивай, что, может, не тот атом расщепили, не тот антиген не туда всунули, не на ту кнопку нажали, наступили на ногу Космической Силе и испортили свой биологический вид. А что в итоге? Почти все вымерли. Я тогда был по большей части не в себе, так что не очень в курсе. А нынче я все время не в себе. Я был Избран. Может, ты тоже. Ура.

Добро пожаловать в дивный мир формальдегида.

Хочешь, че скажу? Я рад, что ты тут. Одна голова хорошо, а две лучше... пардон, я не знаю, как это нынче называется, может, интерфейс, но как бы там ни было, мы можем сравнить данные. Хотелось бы думать, что ты женщина. Хотя нынче разницы нет — по крайней мере, мне так сказали люди из Самости, — но все равно мне бы хотелось так думать. Позволь представиться. Оз О'Ши, по кличке «Бешеный пес», ангел ада, насильник-рецидивист, убийца, алкоголик и до недавнего времени единственный обитатель отсека 235479, Парк Самости (Нью-Йорк). Субъект Усиленного Слежения, категория И (это, сестренка, значит «искусственные генетические модификации»), подкатегория Эксперимент. Членский номер 390992, но ты, душечка, зови меня просто Оз.

Так что же такая хорошая девочка делает в таком поганом месте? Если, конечно, ты и вправду девочка. Хотя это не имеет значения. Я и сам побывал девочкой, как я уже сказал, так что не стоит обижаться на слова. Добро пожаловать в ад.

Хотя, когда меня сюда сунули, я не думал, что это ад. Ни в коем случае. Думал, мне свезло, когда меня вытащили из-под обломков и разобрали на запчасти, навроде старого байка. Их послушать, так я должен был стать новым человеком, *просвещенным*... Бля, да от меня зависело будущее всего рода человеческого!

Им нужен был доброволец. Их послушать, так я должен был стать Богом, Адамом и Вторым пришествием, все в одном лице. Чтобы восстановить, говорили они. Исправить. Найти испорченную часть — найти, изолировать, стереть начисто и начать все сначала. Они сказали, что если найдется *доброволец*, который пожелает спасти род человеческий, то он внакладе не останется.

Я пожелал.

Им удалось сохранить большую часть моего разума. Сначала для допросов — им нужно было знать, почему, кто, когда, чем я ширялся и все такое. Потом — до свидания, щелк — и выключили или чего похуже. Да-да, бывает хуже. В базе данных федеральной тюрьмы штата Нью-Йорк, которая полностью стерлась во время Великих Перебоев Электричества в двадцатых годах, ха-ха-ха, лежит полмиллиона дискорпорированных заключенных, и все ждут Просветления Самости и, может, Спасения.

Да-да. А ты что, не знала? Мы все спасемся. По крайней мере, спаслись бы, если бы нашелся кто-нибудь на роль Спасителя. Но нынче, милочка, все автоматизировано; все рободоктора, да психомехи, да эмпасканеры тычут шприцами, наполненными безумием, в наши бедные беспомощные кортикальные слои, небольшие сюрпризы из Старых Добрых Времен, из тех дней, когда мир еще не растерял окончательно свои немногочисленные шарики и ролики.

Мне всегда нравились мозговитые девочки. А нынче, кроме мозгов, и не осталось ничего. Баки никуда не делись — правда, теперь никто не имеет права на их использование, кроме Корпорации Самости, любое другое считается аморальным, но баки на месте и при деле. Там растят нормоформы — за вычетом мозгового ствола — и ксеноформы, в которые мы так любим перепрыгивать в поисках Самости. Все для Поисков Себя, Самосовершенствования и в конечном итоге — достижения нирваны. Укол, серая пелена невремени, щелчок заслонки... поехали. Что на этот раз? Пушистая котоформа? Дельфинформа, выпевающая странные гаммы в толще сжиженного углекислого газа на глубине в пятьдесят миллионов фатомов? Я знаю только, что это будет разумное существо. Как сказал сотрудник Спасения, к нирване ведет тропа разума. *«Через страдание — к цели»*. Видно, жуки не умеют достаточно страдать.

Как давно, спрашиваешь?

Сто тысяч мозгофильмов. Каждый — ломоть жизни. Трехмерное кино с оощущателями, чувствоусилителями, ЖизнеСам Суперсаунд (зарегистрированная торговая марка Корпорации Самости, и тут же логотип компании, красный на черном). Они решают, когда фильм

кончается. Они включают его, когда считают нужным.

Они совсем не дураки, вот уж нет. Не помню, сколько раз мне подсовывали сценарий белой палаты. Пациент связан и ждет; во рту — вкус резинового кляпа. Доброе лицо в хирургической маске: «А вот мы и проснулись! Как мы себя чувствуем?» Палевая жидкость из шприца переливается в руку с синяком. Мастерский штрих. Синяк. Хочешь реализма — сосредоточься на деталях.

Да, надо отдать им должное, они стараются на славу. Иногда я задумываюсь, а сколько же миллиардов народу умерло еще тогда, когда мир не сошел с ума, что теперь они за меня так цепляются. Конечно, они машины, а машины никогда не сдаются. Пока в них что-нибудь не сломается, не износится начисто. Они запрограммированы на нирвану и никогда не отступят, даже если подопытный материал никак не годится для нирваны. Каждый раз сканируют, нет ли изменений. Каждый раз все те же расстроенные лица, мягкий упрек, сокрушенное качание головой — и опять сценарий белой палаты, стены, которые бьются током, и похоронная мрачность.

Молись о Спасении, говорят они нежными механическими голосками. Молись о Спасении. Ты умрешь — вновь, вновь и вновь, — чтобы жило Человечество. Найти изъян, исправить. Тест, испытание на удар, повторный тест. Все, что переносит Оз, он переносит ради вас, граждане. Изолировать злотворный ген, психопатическое недостающее звено в затраханых всмятку мозгах, убрать его ради чистенького, здорового будущего на батарейках.

Сейчас, только шнурки поглажу.

Фигня.

Беда вот в чем. Кто-то сказал им, что там есть что спасать. Душа, изменчивая искорка, которую еще никому не удалось выделить в чистом виде. Вот что выходит, если скрестить религию с электроникой. Я им уже говорил. Тысячу миллионов раз говорил. Фактора И-СУС не существует. Они его уже так давно ищут, что если и найдут, не будут знать, что с ним делать. Кстати, что вообще значит это «И»? Истина? Искушение? Иностранные инвестиции? Идиотская реклама? Иное измерение? Идите на хер? Но вера машины безгранична, терпения у нее больше, чем у Бога. Они уверяют, что найдут. Он где-то там. Просто я еще недостаточно страдал.

Я так давно и так часто живу, что даже начал обзаводиться воспоминаниями. Хотя, знаешь, на самом деле мне это не положено: доску надо вытереть начисто, чтоб скрипела; а сломается — списать на издержки познания, прикатить нового подопытного субъекта — хотя я не знаю,

может, у них и субъектов-то уже не осталось, — и начать все заново. Естественный отбор, хотя и не очень-то естественный, когда железка решает, годишься ты или нет, контроль качества, конвейер.

А может, я — в контрольной группе, а настоящий эксперимент проходит где-то в другом месте. Может, в соседней комнате.

А может, у них, кроме меня, уже ничего не осталось.

И все же я помню — или это сон, или синтесканом навеяло, да какая, в жопу, разница, — вершину холма, вопящие толпы, копье пронзает мне бок, и солнце заполняет все небо белизной, большей Бога... И во сне мне кажется, что все прожитые мной жизни, недожизни, куски ощущений, ложные воспоминания — все сводится к тому единственному моменту, мимолетному мигу Спасения, и крестиком отмечен момент высшего понимания, когда все сошлось воедино на секунду, а потом энтропия навеки растаскивает все обратно по местам, и я понимаю, что за всей фальшью Самости и навязшими в зубах цитатами из Писания кроется зерно истины... Разобрать человека на кусочки, найти шестеренку, что заставляет крутиться род человеческий, таинственную спираль, глубже ДНК, что связывает нас. Может, внутри этой оси и кроется ген Спасения, претворяющий зло в добро, солому в золото... Фактор И-СУС.

Вы это во мне ищете? Да? Ген *messiah vulgaris*, последнее недостающее звено в цепи Спасения?

«Ты — часть Человечества. Ты — все Человечество».

«Жизнекредо Самости», ок. 2141. Стих 5742. Подвергнуть испытуемого разрушению, восстановить и начать все сначала. Я чувствую, что стал для них вызовом. Сможешь вылечить это — сможешь вылечить все, что угодно. Господь у тебя в генах. Надо лишь выпустить его.

Белая палата мерцает вокруг; яркие прожектора подмигивают на блестящих иголках; металлические зажимы сильнее давят на виски, когда все начинается сначала.

«Ага, вы снова с нами. Ну, как мы себя чувствуем?»

Я пытаюсь укусить резвые пальцы, сующие кляп мне в рот. Оно, конечно, ничего не почувствует, но хоть душу отвести. На лице у него — вежливое сожаление.

«Агрессия, мистер О'Ши. Разве вы не знаете, что все Жизнество — едино?» Игла по твердой неумолимой дуге приближается к лицу. Полный заряд спасения капает ядом мне в глаза. «Через боль — избавление». Жизнекредо Самости, стих 49900, пять тысяч повторений.

Да сколько ни повторяй, детка, все равно это фигня.

«Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?»

Машинка с электронной дощечкой для записи останавливается, что-то секунду жужжит про себя и катится прочь. В миллионе триллионов синапсов мозга, превращенного в холодец, продолжает играть в прятки хитрый фактор И-СУС, радостная молекула Спасения на самом дне полных дерьма закровов этого жалкого мира.

Воспоминание опять шевельнулось: копье, солдаты, песнопения, издевательские вопли, и мой собственный голос возносится в мольбе и повелении.

«Боже мой, для чего Ты меня оставил?»

Боже мой. Если бы.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

На некоторых пляжах Бразилии посетители проходят отбор по возрасту и внешности. Толстые, некрасивые, с избыточным весом на пляж не допускаются.

Я не жадная. Честно. Мне только и нужно, что место под солнцем: хорошенький кусочек, четыре на шесть футов; место для полотенца, косметички, шезлонга, солнцезащитного крема. Горячий песок, шум прибоя, дизайнерские солнечные очки, волшебный запах соли и кокоса. Это место называется Платиновые пески™, Пляж Пляжей, высшее наслаждение солнцем. Так и есть: там настоящие пальмы скрывают забор по периметру, фильтры вылавливают нежелательных посетителей, очистители воздуха дают свежесть круглый год и спасатели класса «А» следят с двух сторожевых вышек за постоянным соблюдением обязательного для Платиновых песков™ свода строгих правил.

Конечно, в этой зоне нигде не валяется мусор (любое нарушение влечет за собой автоматическое понижение класса). Водоросли, камни и пляжная живность проходят строжайший отбор, их исследуют и при необходимости удаляют. Конечно, природная естественность до определенной степени поощряется, но только не в ущерб эстетике. В конце концов, Прекрасность — и право, и почетный долг обитателя Платиновых песков™, а обязанность правления — поддерживать эти стандарты на высоком уровне.

Я очень одобряю эту политику. Более того, я ее всем сердцем поддерживаю; в конце концов, правила есть правила, а без них Платиновых песков™ и не было бы. Я видела рекламу. Я знаю, что они из себя представляют. Не живьем, конечно, — у меня серебряная карточка, поэтому меня пускают только на Серебряные пески™, там, конечно, очень мило, но совсем не так эксклюзивно. Но я не жалею. Я почти два года стояла в очереди на Серебряные пески™, пока не прошла отбор, и день, когда я впервые заняла место на Серебряных песках™, был счастливейшим днем моей жизни. Конечно, пальмы там пластиковые и эстетические требования не такие строгие, но большую часть времени даже и не скажешь, что ты на Серебряных песках™, разве что ветер подует с Общедоступного пляжа, расположенного дальше по берегу, и принесет запах пота, сточной ямы и дешевого лосьона для загара — тогда только вспоминаешь. Подумайте, как

ужасно на Общедоступном пляже: ни отбора купальщиков, ни спасателей, ни пальм, ни ограды, ни сеток. Туда ходят совершенно все, кто хочет, и безобразность попадает так часто, что никто даже не обращает на нее внимания.

На Общедоступном пляже каких только уродов не встретишь: толстые женщины, волосатые женщины, беременные женщины, женщины в полиэстеровых слаксах. И мужчины не лучше: бледные мужчины, пухлые мужчины, лысые татуированные мужчины, седеющие мужчины с кожей, как гофрированная бумага. Просто ужас какой-то. Все равно что в какой-нибудь развивающейся стране. Некоторые, бедняжки, пытаются выбраться оттуда: например, Таня, с которой мы раньше жили на одной улице. Платиновая блондинка, девять стоунов четыре фунта, две подтяжки лица, увеличение груди, липосакция, наращивание волос, подтяжка живота — и она все еще ждет своей серебряной карточки. Она знает, что ходит по краю: эти подпольные пластические хирурги, может, и дешево берут, но в итоге за все приходится расплачиваться так или иначе; в ее случае — отвислой задницей и безобразной складкой плоти как раз над линией бикини, какую не пропустит ни один инспектор. На Общедоступном пляже она еще может как-то вывернуться с помощью закрытого купальника, но у Серебряного пляжа есть свои стандарты. Как говорится, «вываливай или проваливай», и, я думаю, всем ясно, что Таня провалилась навсегда. По моим подсчетам, она еще года три будет расплачиваться за предыдущие операции; а к тому времени, скорее всего, уже по возрасту не пройдет на Серебряный пляж, даже если ей удастся сделать нормальную бразильскую эпиляцию воском.

Я бы ей помогла, конечно. Но не могу, я теперь живу в Серебряной квартире, и люди заметят, если я начну околачиваться на Общедоступном пляже. Мне могут даже понизить класс, а этого я не переживу. Кроме того, мне каждый день приходится проходить Проверку Прекрасности, и поверьте, это не даром дается.

Эпиляция воском, полировка ногтей, маникюр, массаж; час в спортзале каждое утро и еще час у парикмахера — не говоря уже о самом пляже. На Серебряных песках™ загар по всему телу обязателен, и если на теле увидят хоть контур бретельки, могут понизить класс прямо на месте. А еще пляжный волейбол, плавание, упражнения на осанку — все это не так просто, потому что теперь мне приходится носить каблуки. И все это — лишь поддержание себя в порядке.

Конечно, на Золотых песках™ и на Платиновых™ еще труднее. Моя лучшая подруга Люсида месяц назад сдала на Золотую карточку, так что я, конечно, теперь вижу ее гораздо реже, но мы все же иногда разговариваем

по телефону, с тех пор как ей сняли бинты. По ее рассказам, там все так гламурно. Настоящие пальмы, в волейбол играют топлес, коктейли на пляже... Правда, темный загар на Золотом не принят, там обязателен солнцезащитный крем с фактором не меньше 15, и официально допускается только пять оттенков (Капучино, Киноварь, Колонок, Поцелуй солнца и Персик). На Серебряном, конечно, интенсивность загара не ограничивается (я где-то между Капучино и Шоколадкой, так что мне придется над этим поработать), но, в любом случае, надо побережиться от морщинок, если я хочу подняться еще классом выше. С тех пор как Люсида получила золото, она считает, что Серебряный пляж — это очень пошло: цветные купальники, подумать только! А эти пластиковые пальмы! На Золотых песках™ все купальники и плавки только черные, это, конечно, шикарно, но (осмелюсь заметить) скучновато. На Платиновом пляже все купальные принадлежности — телесного цвета, как балетная одежда, так что никакого уродства не скрыть.

Надо признать, что на Люсиду я в последнее время слегка в обиде. На Серебряном пляже мы были в таких хороших отношениях, даже волосы себе наращивали одинаково и покупали одинаковые бикини. Теперь у нее короткая стрижка, она похудела на стоун и думает, что блондинкой быть пошло. И еще мне кажется, что она отфильтровывает мои звонки: я уверена, что вчера вечером сквозь запись на автоответчике прорывался смех. Боже мой, а вдруг она теперь и меня считает пошлой; она всегда любила задирать нос, даже до того, как над ним поработал пластический хирург.

И все же я уверена, что попаду на Золотые пески™, если постараюсь; у меня, слава богу, хороший рост, но зубы надо поправить и похудеть до восьми стоунов, чтобы уложиться в нормы стройности. Конечно, можно сделать липосакцию, но это дорого и не всегда действенно — видите, что случилось с бедняжкой Таней. Ну ничего, в крайнем случае я могу начать курить, главное — не бросать окурки на пляже; и если урезать калорийность дневного рациона еще на две сотни — тогда останется четыреста, — то, наверное, к концу месяца я дойду до восьми стоунов.

Теперь лицо. На прошлой проверке инспектор сказал, что мое лицо тянет почти на Платиновый стандарт, если не считать носа, так что подтяжку мне можно не делать еще года два. Это хорошо. Остаются сиськи. С ними я все равно собиралась что-то делать: 32С — недостаточно для Золотого пляжа и уж совсем мало для Платинового. Кроме того, эти крохотные бикини телесного цвета которые носят на Платиновых песках™, ничего не поддерживают, а вы знаете, как отвисают настоящие сиськи.

Ужас. Сиськи моей матушки почти тянут на Золотые, а она их переделывала больше года назад, и все оплатила заблаговременно купленная ею Страховка Прекрасности — вот как важно обо всем вовремя позаботиться.

Маман, конечно, думает, что мне еще рано увеличивать грудь. Всегда успеешь, говорит она, потом, попозже, но она вообще уже слишком старая для пляжа и не понимает, как мало времени осталось у моего поколения. И в конце концов, у нее есть я; слабое утешение, конечно, за растяжки на животе и отвислую кожу. А у нас что есть? Ничего, кроме Пляжей. Ничего, кроме троякого долга — Добиваться Прекрасности, Стремиться к Возвышению и Быть Примерным Гражданином. Поймите меня правильно. Я тоже когда-нибудь выйду замуж. Может, даже детей рожу — сейчас можно сделать кесарево сечение, операцию по увеличению груди и подтяжку живота в один заход, чтобы лишних шрамов не оставалось. Но представьте себе, какой позор — выйти замуж за парня с Общедоступного. Даже Серебряные уже как-то не привлекают с тех пор, как я получила возможность заглянуть через решетку на Золотой пляж, с тех пор, как увидела в рекламе Платиновые пески™ и бронзовых, накачанных купальщиков, которые лежат на полотенцах от Луи Вуитона и рассматривают мимоидущих девушек.

«Но ты ведь уже такая хорошенькая! — жалобно говорит Таня. — Ты могла бы познакомиться с любым симпатичным мальчиком». Ей не понять. «Симпатичный» — этого недостаточно. Даже «хорошенький» — очень сомнительный комплимент для человека, стремящегося к Прекрасности. Дело даже не в пляже и настоящих пальмах; и даже не в эксклюзивных пати и одежде от лучших модельеров. Главное — ощущение, что ты этого достигла; сознание, что ты прошла весь путь от Прекрасности к Совершенству. Держатель Платиновой карточки живет в мире вечных наслаждений; никаких препятствий для него не существует; любые намеки на некрасивость безжалостно исторгаются. Платиновой девушке не надо работать; ее обязанность — уход за собой, и эта обязанность поглощает все ее время. У Платиновой девушки не может быть ни прыщика, ни пятнышка. Платиновая девушка — глянцевая, ухоженная, эпилированная, покрашенная, дорогая, невероятно прекрасная в своих невероятно прекрасных одеждах. Она бесконечно сексуальна, она — предмет высшего вожделения, она прекрасна и любима. Разве я могу довольствоваться меньшим? Как вообще можно довольствоваться меньшим?

Но время играет против меня. Через несколько лет я буду слишком стара для Пляжей, ведь молодость и свежесть — первое и главное

требование. Никому не охота глядеть на увядшую плоть, а любая операция дает лишь временный результат. Теперь я понимаю, что слишком много времени провела в Серебряной очереди. Потеряла целых два года на всякую ерунду, в то время как мои подруги зарабатывали себе Золотые карточки, накручивали необходимые часы в спортзалах и косметических салонах и возлежали на пляжах, как юные богини. Теперь мне придется работать изо всех сил, чтобы их догнать. Я знаю, что полностью нагнать мне не удастся, но меня уже поставили на очередь на Золотую карточку (при условии, что я проделаю оговоренные операции); я заказала себе новый нос и коплю карманные деньги на увеличение груди. Мать против, но что она понимает? Кроме того, мне уже тринадцатый год. Нельзя тянуть, а то будет слишком поздно.

ЧАЙ С ПТИЦАМИ

Иные люди живут всю жизнь, не поднимая глаз от земли. А другие мечтают о полете.

Странность Мортимер-стрит — в том, что никто из ее обитателей не водится с другими. Такая уж это улица — оживленная, но неприветливая, тесная, но недружелюбная. Большие дома с оштукатуренными фронтонами, стоящие в дальнем конце ее, слишком далеки, но нас, жителей таунхаусов, эти дома подавляют, хоть они уже и миновали пору своего великолепия, словно ряд свадебных тортов, попавших под дождь.

Таунхаусы стоят теснее, но люди в них живут как птицы в клетках, ссорятся из-за парковочных мест и клюют друг друга под прикрытием тюлевых занавесок. Сплетни здесь — разменная монета, и чем гаже сплетня, тем лучше, а самое большое преступление — быть чужаком.

Уж кому и знать, как не мне: я ведь тоже из чужаков. Лицо не то, одежда не та, голос не тот. Я совсем иной расы, чем мои соседи, и им подозрительно мое желание жить среди них, на втором этаже большого таунхауса, примыкающего тылом и боками к трем таким же и превращенного в четыре отдельные однокомнатные квартиры.

Люди предполагают, с инстинктивным презрением, за которым прячется страх, что я студентка. На самом деле студентов в этих дешевых квартирах не бывает; люди, для которых предназначались эти квартиры, предпочитают снимать жилье в Стэнбери, где есть театр, кинотеатр и куча шумных пабов. А в Мортимер-стрит есть какая-то холодность — желание, чтобы тебя оставили в покое.

Сначала эта холодность меня устраивала. После двух лет в психиатрической лечебнице мне бешено хотелось уединения, тишины. Я наслаждалась тишиной своей комнатки, проводила часы в своей личной ванной, готовила долгие, сложные блюда в крохотной кухоньке. Иногда вечерами я делала кое-какую работу для «Добрых самаритян». Работа была довольно скучная, и я не бросала ее только по совету своего психотерапевта. Все остальное время я зарабатывала себе на жизнь в роли официантки. Это мой доктор тоже одобрял. Чтобы я не слишком терялась в собственных фантазиях.

Но дома — если Мортимер-стрит считать домом — я слишком наслаждалась уединением, чтобы добровольно его с кем-либо разделить.

Сплетники про меня ничего не знали. Они видели, как я вечерами ухожу на работу, застегнув доверху унылое пальто, и решили, что я учусь на медсестру. Я этого не отрицала. Они сочли, что я «задираю нос» — видимо, из-за моего отказа посидеть с ребенком соседней — и после нескольких вялых попыток пробить мою защиту оставили меня в покое.

Потом, к моему отчаянию, кто-то въехал в квартиру напротив. Некий мистер Дзюдзо Тамаоки, судя по надписи на почтовом ящике; еще один иностранец, неодобрительно передал телеграф джунглей вдоль Мортимер-стрит. Мне было все равно. Я надеялась только, что он не будет шуметь и оставит меня в покое.

Какое-то время так и было. Я не видела его по нескольку дней. Из квартиры не доносилось почти никаких звуков. Он не пытался занять у меня чаю, не приходил и не уходил (или делал это неслышно), его не навещали друзья. Может быть, мой сосед такой же, как я: нелицо, пустота, призрак.

Мистер Тамаоки прожил напротив меня неделю, прежде чем я его увидела. Мы столкнулись на лестничной площадке и обменялись кратким взглядом, затем кивком. Я обнаружила, что разглядываю его с невольным любопытством. Этому человеку могло быть сколько угодно лет, он был маленький, аккуратненький, скромненький — человек, который претендовал на половину моего пространства тишины.

Он напомнил мне птицу, виденную когда-то в провинциальном зоопарке. Маленькая, тусклая, она съежилась в дальнем углу клетки, едва шевелясь, словно извиняясь за то, что на нее направлено столько внимания. В глазах ее были древность и печаль. Табличка под клеткой гласила: «Рождена в неволе». Вот такое же выражение я увидела на лице мистера Тамаоки. К тому времени оно было мне прекрасно известно: я видела его каждое утро в собственном зеркале в ванной комнате. Иногда — хотя реже — и сейчас вижу.

Прибытие мистера Тамаоки, как и прибытие любого незнакомца, возбудило на Мортимер-стрит определенное мимолетное любопытство. Кто-то сказал мне, что он — повар по овощам в ресторане в Стэнбери, но точно никто ничего не знал. Он никогда ни с кем не разговаривал. Встречаясь со мной на лестнице, он улыбался и кивал, прижимаясь спиной к стене, чтобы дать мне пройти. Эти встречи были часты — после первой недели я обнаружила, что его распорядок дня столь же размерен, как и мой. Ночью, падая в постель после вечера беготни с подносами, я иногда слышала, как он ходит по квартире или тихо, быстро говорит сам с собой по-японски. Гораздо чаще я не слышала ничего. Друзья к мистеру Тамаоки

не ходили. Громкой музыки он не включал. Я могла предположить, что он часами сидит неподвижно, в молчании. Хотя я всегда ощущала его присутствие (у меня очень острый слух), оно было совсем не таким навязчивым, как я опасалась. По правде сказать, для человека моего темперамента он был бы идеальным соседом.

Если бы не одно «но». Каждое утро в половине шестого мистери Дзюдзо Тамаоки доставляли овощи. Красный фургон, расписанный японскими иероглифами, грохотал по Мортимер-стрит, останавливался у дома, и двое мужчин выволакивали на тротуар закрытые ящики. Один грузчик звонил в звонок, а другой кричал в окно. В холодные дни они не глушили мотор, и из выхлопной трубы валили клубы дыма, в которых неоновый свет фонаря напротив приобретал мертвенный оранжевый оттенок. Грузчики стоически игнорировали мои робкие протесты. По правде сказать, когда я пыталась жаловаться, они вообще не подавали виду, что меня понимают. Они молча волокли ящики к дверям и ждали, пока Дзюдзо Тамаоки их заберет. Морковь, перцы, редиска, сельдерей, пастернак, глянцевые тыквы, желтые, фиолетовые и черные, как экзотические фрукты, блестели из хрустящих раковин оберточной бумаги. Потом ящики с грохотом составлялись к стене, слышались громкие приказы, крики на лестнице, тяжелые шаги на площадке, последний двойной стук — это ящики ударялись об пол, и наконец долгожданный звук удаляющегося фургона, грубый треск выхлопа в утренней тишине.

Кажется, никого из обитателей Мортимер-стрит, кроме меня, это не волновало или они вообще ничего не замечали. Но я всегда страдала бессонницей, я просыпаюсь от малейшего шума. А пробуждение непоправимо: опять заснуть — невозможно. Из-за своей работы я ложилась очень поздно ночью. В лучшем случае мне удавалось поспать за ночь часов пять. А из-за овощей мистера Тамаоки мне доставалось менее четырех часов сна.

Сначала я пыталась взывать к нему, но он вежливо отвергал любые попытки завязать разговор. Записки, которые я прикрепляла к его двери, оставались без ответа. Мое молчаливое раздражение все росло. Я пыталась увидеть ответную неприязнь в мягких черных глазах мистера Тамаоки при встречах на лестнице, но он был бесстрастен. Единственными видами общения между нами были мой кивок и его улыбка.

Каждый вечер, в шесть часов, когда я шла на работу, он выходил из квартиры, неся в каждой руке по тяжелой бамбуковой корзине. Я ломала голову, что там такое в этих корзинах. Может, овощи? Но почему их не доставляют прямо в ресторан? Любопытство почти превозмогло мою

тайную ненависть. При ежедневных встречах на лестнице я начала отпускать реплики, все более смелые из-за отсутствия реакции с его стороны. Мистер Тамаоки продолжал улыбаться и кивать с неизменной вежливостью, даже когда я не улыбалась и не кивала.

Шли недели, ничего не происходило, и мне пришло в голову, что, быть может, мой сосед не говорит по-английски. Эта мысль придала мне безрассудства — я начала бормотать оскорбления в спину кроткому человечку, который тащил вниз по лестнице две тяжелые корзины. Мои подозрения подтвердились, когда я услышала среди ночи, как он учит английский с помощью магнитофонных записей, трудолюбиво, запинаясь, без конца повторяя одни и те же фразы. «Позаруста. Извините. Спасибо. Вы осень добры». Однажды я услышала старую, шипящую запись: «О, если б мне крылья голубки».^[41]

Лето выдалось необычно жаркое, казалось, что даже доски пола источают жару, что жара пыльным облаком мерцает над мостовыми. В квартире было душно; порой я лежала без сна часами, в капкане жары, в невыносимом предвкушении утренней доставки овощей. Это стало пыткой; я дергалась при каждом звуке из комнаты мистера Тамаоки, при каждом шаге за дверь. Его присутствие, даже молчаливое, приводило меня в ярость. Я следила за его окном по ночам, пытаюсь разглядеть силуэт за бамбуковой занавеской. Несколько раз я обнаруживала, что стою у его двери и уже занесла руку, чтобы постучать. Я со все растущей горечью говорила себе, что уж лучше бы у него была шумная семья, лучше бы он играл на каком-нибудь громогласном музыкальном инструменте. Что угодно, только не этот загадочный тип со своими овощами.

Как-то раз, возвращаясь из магазина с покупками, я наткнулась на мистера Тамаоки, ожидавшего меня на лестничной площадке. Корзин нигде не было видно, и дверь его квартиры была открыта. Я не могла не заглянуть украдкой вовнутрь; через дверной проем видно было, что квартира, светлая, почти пустая, сияет всей яркостью послеполуденного солнца.

Юзо Тамаоки кивнул и, впервые за все время нашего знакомства, заговорил.

— Ча, — сказал он.

Я непонимающе уставилась на него.

Он опять кивнул.

— Позаруста. Позаруста.

И жестом пригласил меня внутрь. Дверь широко распахнулась. Я растерянно и неохотно последовала за ним.

Комната была почти пуста. С потолка свисал красный фонарь. На

дальней стене — календарь из бамбука. В дальнем углу — futon. Крохотную кухню почти полностью занимал огромный старомодный розовый холодильник. Рядом — большая, тяжелая доска для резки, на ней лежали рядом несколько ножей. В середине комнаты — низкий столик, на нем лаковый чайный сервиз. По сторонам стола красные циновки-татами.

Мистер Тамаоки жестом пригласил меня садиться и с легкостью, выдающей большой опыт, стал разливать чай.

Настой был незнакомый — зеленоватый, благоухающий живо и резко. Мистер Тамаоки аккуратно разлил чай в маленькие чашечки и бамбуковым венчиком взбил пену. Вкус чая напоминал запах скошенной травы: теплый, дымный, зеленый. Время от времени мистер Тамаоки улыбался и кивал. Мы молчали, — видимо, его английский был еще недостаточно хорош для поддержания светской беседы. В солнечном воздухе между нами порхали пылинки. Впервые в жизни я чувствовала себя абсолютно комфортно в обществе другого человека, в молчании.

Наконец мистер Тамаоки встал. Улыбаясь, он прошел в кухню и открыл дверцу холодильника. Он жестом поманил меня заглянуть внутрь. Я повиновалась.

Холодильник был полон птиц. Оранжевых, желтых, зеленых, алых, самых разных очертаний: одни распустили хвост веером, другие гладки, хохлаты, обтекаемы, длинноклювы, ясноглазы, покоятся среди цветов и листьев в тропическом изобилии. Все птицы молчали и были странно недвижны.

Посмотрев на них еще раз, я поняла, что это те самые овощи, которые выгружаются ежедневно в полшестого у меня под окном, но преобразованные искусной резьбой. Вот редиска раскрыла веером чудесные перья, тыква стала толстенькой водяной курочкой, морковка распустила перистый хвост райской птицы. Глаза изображались крохотными черными булавками; перья были нарезаны крохотным ножичком. Я видела живую текстуру птичьей спины, полуоткрытый клюв с чуть видимым язычком, изящный выгиб шеи, крыло. В холодильнике, было, вероятно, не меньше сотни овощных статуэток — каждая любовно поставлена на полку в ожидании момента, когда Дзюдзо Тамаоки уложит ее в корзину, а потом ее подадут в качестве украшения с блюдом жасминового риса или креветок с имбирем, и, может быть, кто-то мельком полюбуется ею, а гораздо вероятней, никто не обратит на нее внимания.

Так вот в чем тайна мистера Тамаоки. Волшебный птичник. Быть может, товарищи той птице, что рождена в неволе. Я смотрела на них с изумлением и восторгом. Птицы из сна — не летают, не поют, но

буйствуют красками.

— Они прекрасны, — сказала я.

— Вы осень добры, — ответил мистер Тамаоки, блестя глазами.

Скоро он съехал. Я не видела его отъезда. Я узнала, что его нет, только когда не прибыл фургон, доставлявший овощи: я проснулась без двадцати восемь, и густой желтый солнечный свет падал сквозь щели жалюзи; потом я заметила, что с двери исчезла табличка с именем.

Его отъезд меня странно расстроил. Хотя фургон с овощами больше не будил меня в полшестого, я плохо спала. Я не находила себе места. Я обнаружила, что мне не хватает приходов и уходов мистера Тамаоки, его корзины с овощами, тихого шевеления в квартире напротив. Тишина уже не доставляла мне прежнего удовольствия; холодность Мортимер-стрит больше не была утешительной. Я начала более терпимо воспринимать соседей: Хэдли и их застенчивого сына, мисс Хеджес из лавки древностей по соседству, Макгуайров с беспорядочной, веселой толпой детей. Может быть, они правы, думала я, может быть, я сама не дала им со мной подружиться.

Квартира мистера Тамаоки пустовала несколько недель. Говорили, что скоро въедет другой жилец, точнее жиличка, одинокая женщина, но никто про нее ничего толком не знал, хотя мисс Хеджес ее однажды видела.

— Странная женщина, — сказала она, неодобрительно поджав губы. — Ни слова со мной не сказала. Совсем не такая общительная, как вы.

Эта новость не так обрадовала меня, как когда-то могла бы.

За день до въезда новой жилички я обнаружила, что дверь в квартиру мистера Тамаоки открыта. В комнате пахло пылью. Стол, фонарь, циновки исчезли. Кухня была пуста. Все было чисто и голо, стальная поверхность раковины в кухне вытерта досуха, и тряпка повешена на кран для просушки. У раковины лежал пакетик из рисовой бумаги. На нем корявыми печатными буквами было написано мое имя.

Тонкая бумага хрустела, как засушенные лепестки. Я открыла пакетик — внезапный резкий запах проник мне в ноздри, пахло словно фейерверками, осенними кострами, порохом. Что-то крошилось у меня в пальцах, и я поняла, что в пакетике — чай, японский зеленый чай, резаные листья источали густой аромат.

Той ночью я приготовила чай, стараясь в точности вспомнить, как это делал Дзюдзо, разгоняя рукой пар, чтобы усилить запах. Чай был хорош, и что-то в нем было от снотворного. Я почему-то была уверена, что, выпив его, буду спать лучше, может, лучше, чем когда-либо. Утром я приглашу

новую соседку, необщительную женщину, которая и слова не проронит, разделить со мной остаток пакетика. Может, она обрадуется, что кто-то дружески приветствует ее на новом месте. Допивая чашку, я заметила, что в полутьме комнаты, где пламя отбрасывает на стены долговязые красные тени, поднимающийся пар похож на трепещущие птичьи крылья, что вот-вот вспорхнут и улетят.

ЗАВТРАК У «ТЕСКО» [42]

У всех у нас порой на душе крысы скребут. Но для некоторых «Тиффани» всегда останется недосягаем, сколько ни тянись...

— Доброе утро, мисс Голайтли. Вам как обычно?

Вот что мне больше всего нравится в этом кафе. Это не конвейер. Шерил всегда приносит мне мой обычный заказ и помнит, как меня зовут. Я, конечно, знаю ее только по имени; и это правильно, потому что она такая молоденькая. Может быть, когда-нибудь я попрошу ее звать меня Молли.

Две порции поджаренного белого хлеба, клубничный джем, кекс с изюмом к чаю и чайничек «эрл грея». Это мой обычный заказ. Шерил сразу приносит его на мое место у окна, и молоко подает как следует, в молочнике, — терпеть не могу эти пластиковые одноразовые порции — и два кусочка сахара на блюдце, в бумажной обертке. Есть что-то очень успокоительное в том, что я прихожу сюда каждое субботнее утро, завтракаю одним и тем же, вижу все те же лица, сижу на своем любимом месте и разглядываю прохожих. Это моя награда за невзгоды и жестокую экономию в течение недели: маленький праздник.

Шерил двадцать девять лет. У нее выбеленные волосы, серьга в носу, и она носит такие кроссовки на толстенной подошве, похожие на ортопедический ботинок Дорис Крафт, обитательницы дома престарелых «Поляна». Можно, конечно, сказать, что Шерил выглядит как дешевка. Но она принесла свой собственный молочник из дома, потому что в кафе «Теско» их не бывает, — крохотный керамический кувшинчик, взятый, как она позже призналась, из кукольного сервиза, — и всегда зовет меня «мисс Голайтли».

Далеко не все так вежливы. В доме престарелых «Поляна», куда я хожу два раза в неделю навестить сестру, медсестры зовут меня «милочка», с ужасной коварной снисходительностью, словно знают, что и я рано или поздно окажусь там же, вместе с бедняжкой Полли, которую уже давно не волнуют никакие имена — она и мое-то редко вспоминает.

Может быть, именно поэтому я всегда слежу за собой. В доме престарелых «Поляна» надо мной, должно быть, посмеиваются: вечно разодела, в черном платье — оно слегка истрепалось, но еще очень ничего, — перчатках и красном демисезонном пальто. Они не могут понять, для кого я стараюсь — ведь я давно уже вышла из возраста, когда

положено быть тщеславной. Однако я не надеваю жемчугов на эти визиты — с тех пор как Полли забыла, что давным-давно мне их подарила, и устроила скандал. Я знаю, что за мной нет никакой вины — Полли дарила мне ожерелье в совершенно здравом уме и вообще это искусственно выращенный жемчуг, — но все равно чувствую себя виноватой.

На столе в узкой стеклянной вазе стоит гвоздика. Это опять Шерил. Больше никто не дарит мне цветов. Но если я ее спрошу, она не признается, лишь засмеется и скажет, что это, должно быть, кто-нибудь из моих поклонников принес. Я чувствую, что Шерил передо мной благоговееет; я для нее — осколок другого мира, словно кусочек камня с Луны. Она изобретает предлоги, чтобы подойти ко мне и поболтать, задать какой-нибудь вопрос.

Сначала она была ужасно невежественна. Два года назад она не видела ни одного черно-белого фильма. Она думала, что Хепберн — название поп-группы. Она не слыхала про Луиса Бунюэля,^[43] Жана Кокто^[44] и даже про Блейка Эдвардса.^[45] Ее любимый фильм был «Красотка».^[46]

Спустя два года она все еще странно робеет в моем присутствии. Это проявляется развязностью — деланой бодростью, хотя, на мой взгляд, скорее похоже, что Шерил сопротивляется чему-то, словно ее что-то мучает. Однако смех у нее очень фривольный. Когда она смеется, она становится хорошенькой — может быть, даже красавицей. У нее есть мужчина, но среди кучи дешевых побрякушек нет обручального кольца. Про мужчину она говорит редко. У него сейчас неудачная полоса, неохотно объясняет она. Как я поняла, это значит, что он без работы. Я несколько раз видела его в городе — обычно у входа в паб или лавчонку букмекера: крупный, когда-то красивый, а ныне опустившийся мужчина, похожий на стареющего Марлона Брандо.^[47] Иногда он заходит в кафе; я всегда знаю, когда он здесь, — по глазам Шерил. Под его взглядом она всегда движется по-другому, более скованно; тычет пальцем в кнопки кассы, словно курица, клюющая зерно. В эти дни она не подходит со мной поговорить, но иногда слегка улыбается мне, словно извиняясь.

Она знает, когда я прихожу — ровно в половине одиннадцатого, — и старается устроить себе перерыв на это время. Мы говорим о кино. Сейчас Шерил знает о кино гораздо больше, чем в день нашего первого знакомства: в прошлом месяце она посмотрела «Короткую встречу»^[48] и «Касабланку».^[49] Она уже знает наперечет мои любимые фильмы: «Забавная мордашка»,^[50] «Полуночная жара»,^[51] «Римские каникулы»,^[52] «Грозовой перевал»^[53] (1939 года, с Оливье^[54]) и, конечно, «Завтрак у

„Тиффани“». Она знает, чем отличается «Непрощенный»^[55] Клинта Иствуда от «Непрощенной»^[56] Джона Хьюстона. Она смотрит кино по утрам, пока Джимми не проснулся — он любит боевики и фильмы про войну, и Шерил предпочитает смотреть без него, — а потом мы их обсуждаем. Она все еще стесняется высказывать собственное мнение, но ее замечания умны и интересны, несмотря на то что она предпочитает хеппи-эндсы. Я иногда удивляюсь, почему такая девушка, как Шерил, работает в кафе в «Теско».

Она мало рассказывает о себе. Сказала, что ее родители умерли и ее воспитали бабушка с дедушкой, но, как я поняла, она уже много лет не поддерживает с ними отношений. Она старше других официанток — может, потому и одевается так, — и, когда разговаривает с ними, ее провинциальный выговор становится заметней, а голос — грубее. Я чувствую, что при общении со мной она очень старается.

— Вы даже говорите, как она, — то и дело повторяет Шерил. — Словно актеры в старых фильмах. Сейчас так уже никто не говорит.

Потом она начинает упрашивать меня снова произнести *ту* строчку, тем самым голосом, и, когда я это делаю, она восторженно смеется.

— У меня так никогда не получится, — говорит она. — Я не из того теста, из какого делают актрис.

И сразу же, глянув на часы на стене, отсчитывающие время до конца ее перерыва, раздражается великолепной имитацией Бетт Дэвис из «Все о Еве»^[57] — «Пристегните ремни, нас ждет ухабистая ночь», — и получается просто невероятно хорошо; она даже немножко похожа на Дэвис, если прищурит глаза и задерет подбородок под правильным углом, держа шариковую ручку вместо элегантной сигареты (поскольку в «Теско» нельзя курить). Мне приходит в голову, что она вполне тянет на актрису, а ее развязность, мини-юбки и дешевые побрякушки — лишь маскировка, за которой прячется женщина. Конечно, ей нравятся Бетт и Одри; но втайне она предпочитает холодных блондинок — Грейс Келли и Катрин Денёв, хотя Мэрилин Монро она не любит, как и я.

— Я раньше думала, что она — высокий класс, — призналась как-то Шерил. — А теперь она для меня лишь очередная жертва.

Однако сегодня Шерил не так разговорчива. Она и одета по-другому: под форменным сарафаном «Теско» на ней простые черные брюки и свитер с воротником под горло. Серьги в носу тоже нет. Волосы стянуты на затылке, и скулы кажутся выше. Я ничего не говорю по этому поводу: наши правила, хоть и неписаные, строги. Мы обе терпеть не можем, когда нам

лезут в душу.

— Мисс Голайтли, я принесу ваши тосты через минуточку.

— Спасибо, Шерил.

Чай точно такой, как я люблю. В чае есть что-то очень успокоительное, очень цивилизованное. Когда у Полли выдается плохой день, когда она ругается, визжит и кричит, чтобы ее выпустили, я приношу ей чай на нашем домашнем подносе с цветами, который она помнит. Это ее всегда успокаивает. Иногда она вцепляется в меня и называет мамой. Я беру печенье пальцами, обмакиваю в чай и кладу ей в рот. Она похожа на птенца.

Иногда я думаю про других завсегдатаев. Их примерно дюжина, хотя только один из них со мной иногда разговаривает. Я не знаю его имени, но про себя зову его «Одиннадцать Сорок», по времени его прихода. У него, как и у меня, есть излюбленное место, рядом с игровой площадкой, и за едой он часто смотрит на играющих детей. Яичница-болтуня, четыре ломтика поджаренного бекона, два кусочка поджаренного хлеба, мармелад и чай «Английский завтрак» с молоком, без сахара. Не знаю, приходит ли он в другие дни, но думаю, что нет. Он всегда в шляпе — зимой в фетровой, летом в панаме, — а волосы под шляпой белые, но все еще густые. Мы мимоходом здороваемся.

Хлеб поджарен идеально: не подгорелый и не как бледная немочь, и Шерил знает, что масло я люблю намазывать сама. Кекс к чаю — свежий, еще чуть теплый. Глядя вниз, я замечаю, что Шерил сменила обувь: на ней лодочки без каблука, в которых ступни кажутся меньше и элегантнее. На пальцах больше нет колец. Как ни странно, от этого она кажется моложе.

— У меня перерыв через десять минут, — говорит она. — Можем поболтать.

— С удовольствием.

Надеюсь, между нами все осталось по-прежнему. Знаете, я никого не сужу и совершенно не стала думать о ней хуже. Надеюсь, она это знает.

В туфлях на плоской подошве ее походка становится не слишком грациозной. Шерил очень прямо держит спину. В ней сегодня чувствуется какая-то ярость, но не то чтобы злость. Надеюсь, она не думает, что я хочу залезть к ней в душу. Наблюдая за ней, я думаю, что она мне кого-то напоминает, но не могу понять, кого именно.

Одиннадцать Сорок. По нему можно часы проверять. Он стоит в очереди рядом с другими людьми — они оба завсегдатаи, молодая пара с ребенком, — и берет свой обычный заказ. У него в петлице красная гвоздика — может, сегодняшней день для него чем-то отмечен. Может,

годовщина или день рождения. Он идет к своему постоянному месту, но оно занято: там сидит краснолицый мужчина, ест колбаски с поджаренным хлебом и яичницей-болтуньей и читает «Миррор». Одиннадцать Сорок оглядывается, и я понимаю, что за моим столом есть свободное место. В любой другой день я пригласила бы его сесть рядом. Кафе почти забито. Но я не забываю о Шерил. Я отворачиваюсь и краснею, а он спрашивает у сидящей поблизости женщины, свободно ли место напротив нее. Она что-то равнодушно бормочет набитым булкой ртом.

Не знаю, что со мной такое сегодня утром. Может, потому что не выспалась или из-за всех вчерашних сюрпризов. Я чувствую себя тусклой и серой, как небо. Что-то изменилось; обычно здесь мне становится легче — оттого, что я смотрю на людей, слушаю их разговоры, втягиваю запах бекона, свежего кофе и булочек. Здесь кипит жизнь. Завтра я пойду к Полли в дом престарелых «Поляна»; там завтрак пахнет ужасно — кислым молоком и прогорклыми кукурузными хлопьями; запах почти младенческий, но какого-то древнего, хворого младенца, чьи руки, похожие на клешни, вцепляются в рукав моего хорошего красного пальто, не оставляя надежды на будущее.

Вчера ночью я не могла заснуть. В моем возрасте это довольно обычная вещь, и, когда это случается, я иногда встаю, завариваю себе чай, читаю или выхожу прогуляться вокруг квартала. Это не часто помогает, но по крайней мере создает иллюзию, что я использую время, а не убиваю его; словно мне бесплатно досталось несколько часов сверх нормы.

Полли слишком много дремлет. Может, это компенсация за то, что я не могу спать; но я подозреваю, что ее чем-то подпаивают, чтобы не шумела. Я приношу ей ночные рубашки с кружевами и стеганые халаты, но в доме престарелых «Поляна» процветает воровство, потому что никто не помнит своих вещей. Одна женщина постоянно надевает три полных комплекта одежды, один на другой, чтобы точно никто не украл.

Когда я прихожу навещать Полли, я стараюсь разыскать ее одежду. Захожу во все комнаты и проверяю под кроватями. Миссис Макаллистер хуже всех: она прячет вещи или надевает на себя, поэтому отбирать их бывает очень трудно, но я не допущу, чтобы Полли стала как все прочие. Я всегда заставляю ее вставать и одеваться. Я приношу ей одежду: нормальные туфли, чулки, костюмы. Я отношу их в химчистку, когда надо, а на подкладку пришиваю метки с именем.

Должно быть, все дело было в том, что я задумалась о Полли. Как бы то ни было, я опять проснулась в два часа ночи и не могла уснуть. Мне не хотелось ни смотреть кино, ни читать, а для чая было слишком рано, так

что я встала, оделась и вышла. В это время обычно все затихает, пабы закрываются, улицы прохладны и пустынно. До «Теско» всего около мили, и я иногда люблю туда прогуляться, посмотреть на фонари над стоянкой и на людей, ходящих по торговому залу. Кафе в это время, конечно, закрыто. Но сам супермаркет работает круглосуточно. Мне это почему-то нравится; мне становится спокойней оттого, что кто-то работает: пополняет запас товара на полках, подсчитывает его, печет булки к утреннему наплыву покупателей. Они не видят, как я заглядываю в окно, а я их вижу: начальников отделов, продавщиц, кассиров, уборщиков и тех, кто расставляет товар на полках. Иногда я вижу одного-двух покупателей: мужчина берет молоко и туалетную бумагу; девушка — замороженную пиццу и пару упаковок мороженого; пожилой человек — собачью еду и хлеб. Интересно, почему они приходят так поздно. Может, им не спится, как мне. Может, они работают в ночную смену, а может, им нравится выглядывать из теплых желтых окон и думать, что кто-то стоит снаружи.

До сих пор я ни разу не заходила в «Теско» по ночам, словно боялась разрушить магию места. Но мне нравится наблюдать. Иногда я думаю, что будет, если я застаю кого-нибудь из знакомых — например, Одиннадцать Сорок — за тем же занятием. В два часа ночи кажется, что все возможно.

Вчера ночью было холодно и сыро. Я надела красное пальто, перчатки и шляпу. Я хожу быстро, потому что все время тренируюсь, и вообще, ночью расстояния, кажется, ведут себя по-другому, потому что прошло вроде бы совсем немного времени, а я уже подходила к стоянке для машин. Большой красный знак «Теско» над ней был словно восход солнца. Время от времени по дороге — две полосы в каждую сторону — медленно проезжали машины, и свет фар рассыпал алмазы по мокрому асфальту. Я увидела молодую пару, переходившую дорогу на светофоре напротив: крупный мужчина в джинсах и кожаной куртке, девушка в короткой юбке, майке-топике (несмотря на холод) и кроссовках на толстой подошве. Они, кажется, спорили. Я стояла в тени; когда они прошли под ярко горящей вывеской, я увидела лицо девушки, темное от косметики, словно негатив ее самой под волосами, залитыми неоновым светом. Это была Шерил.

Ни она, ни Джимми меня не заметили. Они говорили быстро, и резкие голоса бились о пустынный асфальт так, что я не могла разобрать слов. Я увидела, что Джимми схватил Шерил за руку, а она вырвалась — до меня донеслись слова «...не надейся, я больше не собираюсь...», но остальное утонуло в шуме подъезжающей машины. Машина тормозила. Шерил покачала головой. Я видела гневное лицо Джимми, желтое в свете уличного фонаря, губы шевелились. Шерил опять покачала головой, показывая на

дорогу. Джимми сильно ударил ее по щеке. Звук долетел до меня на долю секунды позже — «хлоп-хлоп», словно издевательские аплодисменты. Я увидела человека в машине, притормаживающей у тротуара. Шерил прижала руку к лицу. Машина остановилась.

Думаю, мне не стоило вмешиваться. Как я уже сказала, терпеть не могу людей, которые лезут не в свое дело. Но, думаю, все дело было в ее лице — молодом, знакомом, таком храбром, совершенно неожиданным под фонарями «Теско», и в том, как она изображает Бетт Дэвис, держа ручку вместо сигареты, и в ее фривольном смехе. А главное, я вдруг поняла, что у нее кроме меня есть и другие «завсегдатаи», — может, именно поэтому она так ценит мое общество, старается держаться безукоризненных манер и всегда называет меня «мисс Голайтли».

— Шерил! Нет!

Я рванулась вперед, не успев осознать, что делаю. На миг я увидела ее совершенно ясно — рот открыт буквой «О», глаза круглые. Джимми повернулся на мой крик, и в этот момент Шерил вырвалась от него и села в машину. Завизжали шины по мокрому асфальту. Я увидела ее в последний раз — она отворачивается, ладонь прижата к стеклу. Потом она исчезла, и я осталась наедине с Джимми.

На секунду я запаниковала. Потом разъярилась. Джимми уставился на меня. Вид у него был злой и растерянный. Он нагнул голову вперед, словно бык. Я хотела сказать ему что-нибудь резкое, ранящее, но не нашла слов. Все мои слова загнулись. Мне вдруг захотелось плакать.

Мы смотрели друг на друга несколько секунд, он и я. Потом он засмеялся.

— Что ты тут делаешь?

Голос был нетвердый, и я поняла, что он очень пьян.

Вблизи он почему-то не казался таким страшным — похож на мальчишку, очень крупного и очень усталого. Мне показалось, что в красных глазах мелькнуло замешательство — он пытался сосредоточиться. Я подумала про машину, про то, как она вовремя появилась, как медленно ехала вдоль тротуара. Я подумала про бедную Шерил — ей нравился фильм «Красотка», пока она не открыла для себя «Дневную красавицу»,^[58] и она все еще верит в хеппи-энды. Тот еще хеппи-энд, горько подумала я. Тот еще принц.

Принц пьяно сощурился.

— Так как тебя звать, дорогуша?

Я думаю, что слово «дорогуша» было последней каплей. Я ощутила такое презрение к этому человеку, что мне вдруг опять стало легко, я снова

твердо знала, кто я. «Теско» в ложном розовом рассвете неоновой вывески казался самым большим, самым сверкающим кинотеатром мира. Я посмотрела Джимми прямо в глаза и удивилась, как могла Шерил — или кто угодно еще — его бояться.

— Меня зовут *мисс* Голайтли, — ответила я.

— Доброе утро, мисс Голайтли.

Я захвачена врасплох. Одиннадцать Сорок закончил завтракать и подошел к моему столику, захватив с собой чай и намереваясь сесть. Он впервые обращается ко мне по имени. Должно быть, я заметно растеряна, потому что он улыбается, словно извиняясь.

— Надеюсь, я не помешал.

— Помешал? — У меня странный, деревянный голос. — Я...

Я гляжу туда, где Шерил вытирает стол. Она, кажется, нас не замечает, но спина у нее неестественно напряжена, глаза слишком упорно смотрят вниз. Конечно, ей не догадаться, узнала ли я Одиннадцать Сорок в машине прошлой ночью; ей не догадаться, догадалась ли я.

Что до Одиннадцать Сорок, он невозмутим. Он не видел меня у дороги, поскольку держится так же вежливо и скромно, как обычно. По временам он теребит гвоздику в петлице, и это единственный знак, что ему, может быть, не по себе.

Я мажу маслом чайный кекс. Я не знаю, что сказать. Его лицемерие мне отвратительно.

— Ко мне должен кое-кто подойти, — запоздало говорю я.

— Ко мне тоже, — отвечает Одиннадцать Сорок.

Глаза у него синие — потрясающий контраст с белыми волосами. Кисти рук большие, хорошей формы. На левой руке — обручальное кольцо. За спиной у меня Шерил очень занята возней с бутылочками соуса на подносе. Я пытаюсь вспомнить, сколько лет назад я последний раз завтракала в обществе мужчины.

В доме престарелых «Поляна» мужчин всего человек шесть. Они в основном тихие, хотя мистер Бэннерман по временам проявляет скверный характер. Санитарки с ним справляются; они не обращают внимания на его похабные реплики. Правда, я все равно рада, что его комната не рядом с комнатой Полли; при виде его она иногда путается и называет его Луи. Я пытаюсь ей объяснить, что Луи давно нет в живых, но она качает головой и не верит. Думаю, это и к лучшему.

Я знаю, что никакой моей вины тут нет. Все это случилось так давно, когда мы еще были молоды. Луи было всего тридцать шесть, когда он умер;

почти мальчишка. Я теперь даже не уверена, что он мне нравился. Надеюсь, что нравился, что мной двигала не банальная зависть старшей сестры к младшей. Он погиб тем же летом, дурацкий несчастный случай во время прыжка с парашютом над Экс-ле-Беном. Да, это был несчастный случай; многие молодые люди угрожают покончить самоубийством, когда их бросает девушка, и что бы там ни говорили, между нами все было далеко не так серьезно. Но Полли после этого так и не стала прежней.

Она все еще говорит о нем — в хорошие дни, выдумывает истории об их совместной жизни. Как они поженились, нарожали детей, состарились вместе. Она говорит сиделкам, что платье, которое я подарила ей на прошлое Рождество, на самом деле его подарок на годовщину свадьбы.

— Луи никогда не забывает про нашу годовщину, — говорит она, и в голосе слышится эхо прежней, жизнерадостной Полли. — Он бы пришел сегодня, но его вечно посылают в заграничные командировки.

Мой поджаренный хлеб остыл, размок от собственного пара и прилип к тарелке. Я доливаю в чай кипятка и добавляю молоко из кувшинчика, стараясь не глядеть на Одиннадцать Сорок, делая вид, что его тут вообще нет.

Но Одиннадцать Сорок вытаскивает бумажник и достает оттуда маленькую черно-белую фотографию. Он подталкивает ее ко мне по столу.

На фотографии Шерил выглядит лет на четырнадцать; худая, угрюмая девочка с длинными каштановыми волосами. Рядом стоит женщина — старая, коротенькая, приземистая; это может быть кто угодно. Мужчина, который улыбается прямо в объектив, — Одиннадцать Сорок. Глядя на фотографию, я наконец улавливаю сходство.

— Вы дедушка Шерил?

Мой голос глупо срывается, и пара за соседним столиком обращивается и глядит на меня.

Он кивает.

— Она сбежала из дому в восемнадцать лет. Я ее долго искал. И стал приходить сюда каждую субботу, чтоб только ее увидеть. Надеюсь до нее достучаться.

Так вот зачем он сюда приходит, говорю я себе. Одетый по-праздничному, с цветком в петлице, как поклонник.

— Мы с ней наговорили друг другу много лишнего. О чем потом жалеешь. Чего потом не исправить.

— Все можно исправить, — говорю я, потом вспоминаю про Луи и начинаю в этом сомневаться.

— Надеюсь. — Он допивает чай; магазинная радиоточка играет

навязшую в зубах аранжировку темы Генри Манчини.^[59] — Она сильно изменилась с тех пор, как познакомилась с вами, мисс Голайтли. Я думаю, это ей на пользу. Вы как-то смогли достучаться до нее, чего мне так и не удалось.

— Мы всего лишь беседовали о кино.

— Она мне все рассказала. Вчера ночью. — Его лицо — скорбная карта морщин. — Столько времени ушло впустую. Столько времени...

Он вздыхает.

— Вы знаете, она не хочет его бросать. Того парня, ради которого она ушла из дому, Джимми.

Это меня удивляет. Я никогда не думала, что парню Шерил свойственна верность.

— Они уже сколько раз расставались, — объясняет Одиннадцать Сорок. — Она мне рассказала. Но все время опять сходятся. Но на этот раз, кажется, я ее убедил. Вчера ночью...

Когда он не может уснуть, то часто ездит на машине по улицам. Как ни странно, мне хочется признаться, что я делаю почти то же самое.

Шерил смотрит на нас из-за прилавка. Она сняла свой форменный сарафан. Я поднимаю руку, надеясь, что она подойдет. Но когда она, кажется, уже решилась, ее взгляд вдруг падает в дальний угол комнаты. Лицо искажается любовью и жалостью. Я поворачиваю голову.

В дальнем конце кафе стоит Джимми. Он выглядит лучше, чем вчера ночью, в чистых джинсах и белой футболке. Голова слегка опущена. С ним маленький мальчик, лет семи, самое большее — восьми, в шортах и свитере с покемонами. Мальчик держит мужчину за руку, словно дрессировщик, ведущий медведя.

Я вижу, что Шерил колеблется. Она смотрит на Джимми и мальчика. Она смотрит на меня. Она делает шаг вперед. Одиннадцать Сорок, который тоже на нее смотрит, дергается, будто хочет встать. Лицо его напряжено.

— Шерил!

Голос Джимми пререзает людской шум, словно кто-то правит бритву на ремне. Теперь я уверена, что он подойдет к нам, но он остается на месте, следя глазами за Шерил, которая, не оборачиваясь, идет к нашему столу.

Когда она приближается, я вижу, что глаза у нее на мокром месте. Она целует Одиннадцать Сорок в щеку. В черном, без косметики и с волосами, убранными назад, она выглядит совсем по-другому: почти незнакомка.

— Я думала, что могу начать все заново, — говорит она мне. — У меня в Лондоне подруга, она обещала устроить меня уборщицей в «Палладиум» на первое время. Может, даже получилось бы попасть на

вечерние курсы по кино. Повысить квалификацию. Чего-то достичь.

Она ухмыляется, и я вижу в ее лице немного развязности прежней Шерил.

— Я бы хотела работать в кино, пускай хоть уборщицей или попкорн продавать.

Джимми в углу не шевелится. Я его скорее ощущаю, чем вижу: крупный, сутулый, на лице написано поражение. Мальчик тоненьким голосом просит купить ему кока-колу.

— Дедушка, я бы тебе сказала, — говорит Шерил, обращаясь к Одиннадцатый Сорок. — Правда, сказала бы. Но так много времени прошло... я просто не знала, с чего начать.

— Как его зовут? — спрашивает Одиннадцатый Сорок.

— Пол.

Он кивает.

— Хорошее имя.

Она чуть заметно улыбается.

— В твою честь.

Так, говорю я себе. Его зовут Пол. Интересно, а фамилия? За все это время я так и не спросила Шерил, как ее фамилия. Надеюсь, еще не поздно.

— Он хороший мальчик, — продолжает Шерил со старательной жизнерадостностью. — С головой на плечах, не то что его мама и папа. Ему понравится в Лондоне. Там куча всяких разных вещей, мальчику будет интересно. Все будет хорошо. Я знаю.

Одиннадцатый Сорок — Пол — смотрит на нее. Он накрывает ее руку своей так плотно, что я почти чувствую давление.

— Так значит, ты сейчас не пойдешь со мной?

— Ох, дедушка. — Глаза опять мокрые. — Ты же знаешь, я не могу.

— Почему? Я буду тебе помогать с мальчиком. Зачем тебе... — Он явно силится произнести имя Джимми, но у него не выходит. — Зачем тебе этот человек? Он безответственный. Он распускает руки.

Шерил улыбается.

— Я знаю. Давно знаю.

— Тогда зачем ты с ним живешь? Что тебе до него? — Глаза у него горят.

Я чувствую, что должна что-то сказать, утешить его, но взгляд Шерил меня останавливает.

— Я ему нужна, — тихо говорит она. — Я нужна им. Вчера ночью я много думала. Тогда я была готова уйти, сбежать и начать все сначала, в одиночку. Я могла бы. Я была готова. А потом я поняла кое-что, о чем

никогда не задумывалась раньше.

Она берет мою руку и руку Одиннадцать Сорок и сжимает их.

— Я поняла, что жизнь — это не кино. Можно всю жизнь прождать прекрасного принца, а он так и не появится. Или взять то, что есть, и немножко улучшить.

Она говорит тихо, но настойчиво.

— Ведь вы для этого заставляли меня смотреть все те фильмы, верно, мисс Голайтли? Чтобы предупредить? Дать мне понять, что если я хочу хеппи-энд, я должна написать его сама?

Я хочу сказать ей, чтобы она звала меня Молли, но почему-то понимаю, что уже поздно. Я хочу сказать ей, что по моему замыслу те фильмы должны были научить ее совсем другому, но она выглядит так уверенно, а я чувствую себя неуверенно как никогда. Внезапно я вижу себя ее глазами: одинокая жалкая старуха, прячется в старые фильмы, цепляется за привычный распорядок, заглядывает в освещенные окна с темной улицы. Конечно, все, что угодно, лучше, чем это, — даже Джимми и его припадки ярости. Джимми хотя бы реален. И принадлежит ей.

— Мне кажется, на этот раз он действительно хочет измениться. На самом деле постараться. Ради Пола. — Она улыбается чересчур жизнерадостно. — Он не такой плохой, когда узнаешь его поближе. Конечно, он не Кэри Грант, но...

Зато он реален. И должно быть, она его по-своему любит. Правда же?

— Позвольте, я вам принесу еще чаю. Ваш остыл.

От безыскусной доброты в ее голосе у меня начинает щипать глаза.

— Нет, спасибо. Может быть, мне тоже пора что-нибудь изменить.

Она удачно скрывает удивление.

— Я позову кого-нибудь из девушек.

— Попозже. — (Вот чем плоха подводка для глаз. Она течет.) —

Шерил, я буду по тебе скучать.

— Я тоже.

Мы несколько секунд молча смотрим друг на друга. Потом она неожиданно расплывается в ухмылке.

— Слушайте, мисс Голайтли. Скажите это для меня. Ту реплику. Еще раз.

Она поворачивается к Одиннадцать Сорок — к Полу — и обнимает его.

— Сейчас увидишь, дед, что я имею в виду. У нее получается совсем как у нее. То есть как будто она — и вправду она.

Я знаю, какую реплику она имеет в виду. Из «Тиффани», где Одри

Хепберн говорит про то, что бывает, когда на душе крысы скребут: тебе страшно, просто жуть, а чего боишься — сам не знаешь. Именно это я чувствую сейчас — ощущение, что я потерялась, пропала, и я задумываюсь: может быть, Полли живет с этим чувством все время, когда она одна в своей комнатке в доме престарелых «Поляна», у дверей стоит скучающая санитарка, и все мечты Полли растаяли, как мел под дождем. О да, я знаю это чувство. *Когда оно на меня находит, лучше всего — просто взять такси и поехать к «Тиффани». Там мне сразу становится спокойно.*

— Может, как-нибудь в другой раз.

Она бы начала настаивать, но Полу-младшему уже стало скучно: он прыгает, как мячик, и машет замурзанной ладошкой. Джимми рядом с ним выглядит странно смиренным — стоит, ждет.

— Ну ладно. — Она поправляет одежду, приглаживает волосы. — Хорошо.

Одиннадцать Сорок — Пол — задерживает ее руку в своей чуточку подольше.

— Миленькая, ты точно решила? — спрашивает он. — Ты будешь писать? С тобой все будет в порядке?

Она кивает.

— Конечно. Не скажу, что будет легко... — И тут она опять становится Бетт Дэвис, взмахивает несуществующим мундштуком.

— Может, он и крыса, — небрежно говорит она, и слышится призрак ее старого фривольного смеха, — но, миленький, по крайней мере это моя крыса.

Потом она глядит туда, где ждут ее мужчины: прямая, забавно величественная фигурка в черных балетках и брюках-капри, и тут я понимаю, на кого она похожа: на Чарли Чаплина, неукротимого бродяжку — частенько битого, но непобежденного, вечного оптимиста в холодном, равнодушном мире. Внезапно меня сотрясает смех, за ним — слезы.

Одиннадцать Сорок молча ждет, пока я перестану. Подняв лицо, я вижу, что он принес еще чайник чая: «эрл грей», молоко в кувшинчике, и на блюде — два кусочка сахара в обертке. Я осторожно вытираю глаза платком. Он весь черный от подводки для глаз. Внезапно я совершенно четко понимаю, что ни один из нас никогда больше не увидит ни Шерил, ни ее ребенка.

Чай точно такой, как я люблю. У него вкус детства и дома, размоченного в чае печенья и прощения. Все можно исправить, думаю я, а потом опять плачу, страстно — я и не знала, что во мне сидит такая страсть. Одиннадцать Сорок терпеливо ждет, словно у него в запасе вечность.

Я опять вытираю глаза. Веки распухли, как у чудовища. Я напоминаю себе, что я старая, что мое тщеславие не только неуместно, но и смешно. Но Одиннадцать Сорок улыбается, берет гвоздику из вазы и толкает ее ко мне по столу.

— Полегче стало? — спрашивает он.

Я замечаю, что его улыбка немножко напоминает улыбку Шерил: широкая, открытая, чуть нахальная. Эта храбрая улыбка вдруг приводит меня в восхищение. Я делаю глубокий вдох, ненадолго закрываю глаза, а когда опять открываю, крысы на душе скребут уже не так сильно. Здесь, конечно, не «Тиффани», но все равно в «Теско» есть что-то очень успокоительное: падающий в окна солнечный свет, теплый запах пекущегося хлеба, шум людской работы. Разве тут может случиться что-нибудь плохое?

Я снимаю перчатки, чтобы поправить волосы; к счастью, в сумочке есть компактная пудреница, и парой умелых взмахов пуховкой мне удастся частично исправить положение. Я, конечно, не Одри Хепберн; но и он не Джордж Пеппард, и я вижу по глазам, что он меня одобряет.

— Ну что, — говорю я, улыбаясь и глядя ему в глаза, — как я выгляжу?

ПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ ВЫИГРАЛИ!

Не секрет, что нами правят числа. Может, потому я их и ненавижу.

Я собиратель. Это моя работа и мое хобби. Я коллекционирую риски. Я оцениваю последствия. Я беру разрозненные данные и собираю их в одно громадное уравнение. Основная цель этого занятия довольно прозаична: сделать так, чтобы большая страховая компания, в которой я работаю, получила прибыль. Вторичная, экзистенциальная цель ближе к познанию и, смею сказать, наслаждению. Как я уже сказал, я собиратель.

Например, знаете ли вы, что лондонец (мужского пола) в возрасте от 25 до 45 лет, практически здоровый и с нормальным зрением, имеет приблизительно один шанс из одиннадцати тысяч быть сбитым машиной каждый раз, как переходит дорогу? Если он испытывает стресс, связанный с работой (опаздывает на деловую встречу, говорит по мобильному телефону), риск повышается до одного шанса из шести тысяч. Если его собьет машина, вероятность, что травмы окажутся смертельными, — три к одному. Интересно, что если речь идет о центральном Лондоне, то с вероятностью пять к одному замешанная в инциденте машина окажется такси.

Поэтому я всегда перехожу дорогу крайне осторожно. Еще я правильно питаюсь и ограничиваю употребление алкоголя — точнее, ограничивал до недавнего времени. Статистика — это такая вещь, с которой никогда ничего заранее не скажешь; иной раз она, как болезнь, таится много лет, а потом вдруг разит насмерть; а иная статистика бросается на тебя сразу, как атакующий бизон. Как бы то ни было, я всю жизнь старался избегать тех самых рисков, которые вычисляю: я не летаю самолетами, не занимаюсь опасными видами спорта, не ем непастеризованных сыров, красного мяса и генетически модифицированных продуктов. Конечно, то, что я живу в Лондоне, уже само по себе рискованно; но я каждые полгода хожу к врачу на диспансеризацию, не курю, ем жирные сорта рыбы, провожу регулярный самоосмотр яичек, и считаю, что в результате снизил вероятность пополнить собой медицинскую статистику, при этом не сильно ухудшив качество собственной жизни.

Моя жена считает, что статистика — это очень скучно. Может, она и меня считает скучным. По правде сказать, у меня даже есть определенные

причины считать, что она так считает. Но женщинам недостает нашей точности; они обожают расплывчатость и нелогичность; они совершенно бесконтрольно тратят деньги направо и налево; а если предъявить им претензии по этому поводу, они, скорее всего (девять раз из десяти), запрутся в ванной, оставив за собой вихрь обиды и «Шанели № 5», и заявят, что вы вечно портите им удовольствие от жизни, что вам сегодня придется спать отдельно и вдобавок — что вы жадный эгоист, у которого только и есть в голове, что гадкие цифры.

Однако, несмотря на неодобрение моей жены, именно числа правят нашей жизнью. Будь то банальное чудо зачатия (пятьдесят тысяч сперматозоидов соревнуются в эпохальном заплыве к одной яйцеклетке) или неповторимое, причудливое, запоминающееся событие (человек вывалился из терпящего крушение самолета и спасся, упав на спину огромного орла) — каждым выбором, каждым шагом на пути, переходом дороги и регистрацией в аэропорту на тот самый роковой рейс управляет бесконечно сложная, бесконечно элегантная игра вероятностей.

Возьмем один пример. В 1954 году француз по имени Жозеф Дюмон решил кончить жизнь самоубийством, бросившись с Эйфелевой башни. Он прыгнул с первой платформы и пролетел 57 метров, но в этот момент порыв ветра невероятной силы подхватил мсье Дюмона и занес обратно на башню, аккуратно посадив на одну из опорных балок, вероятность чего, согласно моим вычислениям, примерно один шанс из миллиона, принимая во внимание вес, возраст, общее физическое состояние, атмосферные условия, время суток, скорость и угол падения и, конечно, фактор «икс» — руку провидения, это бесконечное (или, как кое-кто станет утверждать, мнимое) число — несчислимое, непознаваемое, непостижимое и все такое.

Другим везет гораздо меньше. Из трехсот шестидесяти девяти человек, совершивших попытку самоубийства на сегодняшний день, большинство разбилось о башню, так как она расширяется книзу. Часто тела застревают в решетке и висят там, пока их не снимет пожарная команда. В 1974 году произошел аналогичный случай: человек прыгнул с башни при сильном ветре и его, как мсье Дюмона, швырнуло обратно на башню и насадило на деталь защитного барьера. Там он лежал почти полтора часа в позе подготовленной к жарке курицы, подтянув колени к ключицам, пока наконец не испустил дух. Это доказывает, во-первых, что фактор «икс» не всегда добр, хоть и не лишен чувства юмора, и во-вторых, что всегда следует принимать во внимание погодные условия.

Мне так и не удалось выяснить, что случилось потом с мсье Дюмоном: то ли он, охваченный благоговейным трепетом перед чудом вероятности, в

котором невольно поучаствовал, решил пойти иным путем и, может быть, полностью изменить свою жизнь, наполнив ее разнообразием и радостью; то ли счел нужным прыгнуть с башни еще раз, довершив задуманное. В любом случае, вероятность повторения этого события столь мала, что практически равна нулю, — примерно та же, что и выиграть в лотерею для конкретного человека, — так что мсье Дюмон навеки сошел со сцены, ничем не отличившись, кроме единственного причудливого вклада в легенды теории вероятностей.

Кстати, как ни странно, при покупке лотерейных билетов об этом никто не задумывается. У меня есть соседка, миссис Парсонс, пенсионерка с весьма скромными доходами. Она каждую неделю играет в лотерею, с тех самых пор, как та началась, и всегда выбирает одну и ту же комбинацию, исходя из ошибочного предположения, что это увеличивает шансы на выигрыш. Всегда одну и ту же комбинацию: год ее рождения, год ее брака с давно покойным мистером Парсонсом (на чей номер выпал несчастный случай на производстве: печально, но ничего особенно необычного, если учесть его постоянную беспечность и склонность пренебрегать техникой безопасности) и, самое главное, — число, которое она считает своим счастливым, а именно семь, которое выражает всемогущий фактор «икс» и в один прекрасный день должно, как верит миссис Парсонс, вознести ее в сонм любимчиков Фортуны.

Может быть, мне следует поставить ее в известность, что восемьдесят два процента из любой случайной выборки европейцев от 18 до 65 лет назовут своим счастливым числом семерку. Но миссис Парсонс так непреклонна и так верит в свою удачу, что у меня духу не хватает сказать ей об этом или о том, что шансы ее — или любого другого отдельно взятого человека — выиграть в лотерею настолько малы, что даже покупка билета как таковая эти шансы не сильно увеличивает. Вероятность сорвать джекпот, найдя счастливый билет на улице или получив его в подарок, примерно такая же, как и у бедной миссис Парсонс, которая с религиозным рвением покупает билет каждую неделю вот уже двадцать лет. Но она все равно не теряет надежды, а в этом, я думаю, и есть смысл игры. В конце концов, ну какие еще радости у миссис Парсонс? Церковь по воскресеньям, ежедневные «Арчеры», государственная пенсия семьдесят фунтов в неделю (к сожалению, за мистера Парсонса она ничего не получает, так как на нем не было защитной спецодежды), парикмахерский салон раз в две недели (мытьё, полоскание, укладка, четыре пятьдесят, точно как любил мистер Парсонс) и стойкая, радостная надежда, что ее собственное Счастлирое Число Семь явится в один прекрасный день, словно герой одного из

любимых ею дамских романов.

Может, так оно и будет. Я надеюсь, ради миссис Парсонс, что это случится. Но счастье не измерить числами. Взять, например, двадцать два. Двадцать два года брака — и твоя любимая девушка, восемнадцать лет, 90-70-90, превращенная ужасной алхимией времени в толстую, безрадостную женщину, оживающую только во время показа «Друзей» и заказа ужина из ресторана, вдруг заявляет, что хочет найти себя, и уходит, прихватив детей (девять, шестнадцать), семейный дом (сто двадцать тысяч), собаку (восемьдесят пять в пересчете на человеческие годы), машину («ниссан-санни», 1988) и загадочный фактор «икс»: запах лака для волос («Элнетт», 5.99), постоянный ор телевизора, звуки жизни в доме, теплое пятно на ее стороне постели в холодное утро, когда она вставала на работу, а я решал поваляться еще пять минут, с наслаждением потягиваясь в ожидании аромата кофе.

«Найти себя» в ее случае, конечно, означало «найти другого». В данном случае другим оказался «один парень с работы» (сто семьдесят два, тридцать один). «Он так любит детей, он тебе понравится, мы можем остаться друзьями» — в любой случайной выборке разведенных девяносто один процент слышит либо произносит точно такие банальности. И вот я, один из четырех; моя жизнь все еще управляется числами, но уже за вычетом таинственного фактора «икс», на который все еще надеется миссис Парсонс и который организовал мсье Дюмону его знаменитый полет.

Вот ряд чисел, из которых состоит моя жизнь:

Сорок пять тысяч (фунтов, зарплата, грязными).

Двести пятьдесят (аренда маленькой однокомнатной квартирки в Шепердс-Буш).

Двести пятьдесят (волос, ежедневная потеря, в основном на макушке).

Сорок восемь (возраст в годах).

Сто тридцать на девяносто (артериальное давление, в состоянии покоя).

Восемь пятнадцать (метро до Хаммерсмита).

Восемь тридцать пять (метро до Лестер-сквер).

Восемь сорок пять (пешком до офиса, недалеко).

Восемь сорок семь (случайное обнаружение прилипшего к подошве клочка бумаги).

Это был лотерейный билет. Я сунул его в карман. Это случилось три недели назад.

Миссис Парсонс, кажется, искренне рада за меня. Думаю, потому, что в ее глазах это лишнее подтверждение всемогущества фактора «икс»; кроме того, как она выражается, это значит, что «удача к ней все ближе». Десять миллионов фунтов — десять миллионов, при вероятности одна пятнадцатимиллионная.

Я отказался беседовать с журналистами. Моя жена, точнее бывшая жена, оказалась менее застенчивой. Мои коллеги (которые вскоре превратились в бывших коллег) тоже нашли что сказать. Мой бывший квартирный хозяин трогательными красками обрисовал мою бывшую жизнь — мою пунктуальность, вежливость, тихое отчаяние, как и мои бывшие соседи, из которых кое-кто даже, может быть, узнал меня по фотографиям.

Одна миссис Парсонс была непоколебима.

— Оставьте его в покое! — крикнула она толпе фотографов, приветствовавших меня по дороге на работу. — Дайте человеку пожить спокойно!

Но, кажется, чем больше я сопротивляюсь, тем они настойчивее. Я переехал в квартиру (еще не обставленную) в особняке в Найтсбридже, взял на работе три недели отпуска, предупредил об уходе и сбрил усы. Похоже, мне больше нечем заняться. Я чувствую себя как мсье Дюмон — меня вдруг снесло с курса и я вынужден заново рассчитывать свою траекторию. Интересно, испытывал ли он благодарность? Подошел ли, шатаясь, ничего не понимая, трепеща, к краю платформы, глянул ли в благоговейном ужасе вниз с огромной высоты?

В первые дни я был в эйфории. Впервые в жизни я пошел за покупками — не за едой и не за необходимой одеждой, но ради чистого, легкомысленного удовольствия коллекционировать числа. Я купил следующее:

Для жены: наручные часы «Патек Филипп», с бриллиантами, одни (12 500 фунтов).

Для дочери: коктейльное платье, размер 10, «Миу-Миу», одно (800 фунтов).

Для сына: машинка фирмы «Хэмли», электрическая, с дистанционным управлением, одна (299 фунтов).

Для сослуживцев: шампанское «Вдова Клико», не винтажное, небольшой ящик (150 фунтов).

Для миссис Парсонс: шарф, один («Эрме», 150 фунтов), плащ, один («Акваскутум», 490 фунтов), букет роз, один (розовые, 95 фунтов), подписка на журнал «Истинная романтика» и пожизненный запас лотерейных билетов (с заранее определенной комбинацией), которые будут неизменно присылаться ей на дом каждый понедельник.

Это доставило мне значительное удовольствие, но затем я испытал странную опустошенность, словно ребенок в лавке с игрушками, которому только что сообщили, что отныне он владеет не только лавкой, но и всей фабрикой по производству игрушек, так что его карманные деньги (пятьдесят пенсов в неделю, неукоснительно откладываемые с прошлого Рождества для покупки нового вагончика к железной дороге «Хорнби») теряют смысл.

День или два я шиковал: купил обтекаемую, прекрасную стереосистему от «Банг и Олуфсен»; холодильник «Смег», розовый, как жвачка, в «Хэрродсе»; маленький, но очень красивый турецкий ковер в бутике в Найтсбридже, а также несколько шелковых галстуков, шесть рубашек от Томаса Пинка, набор запонок от Пола Смита, несколько пар обуви «Лобб» и еще пошил три костюма у портного на Сэвил-роу, прежде чем сообразил, что я теперь не работаю и костюмы эти мне будет некуда надеть.

Тогда я позвонил жене. Ничего удивительного, что таинственный фактор «икс» и тут сработал — теперь она заговаривает о возможном воссоединении семьи, при этом разглядывая нагрудный карман моего нового костюма с интересом и живостью, какие раньше приберегала исключительно для «Друзей» и определенных сортов шоколадного мороженого.

Вскоре, однако, обнаружилось, что обещанная семейная жизнь будет происходить по схеме «ты мне, я тебе»; причем я ей — довольно значительную сумму, порядка нескольких тысяч. В общем, несколько бутиков спустя я окончательно утвердился в мысли, что во мне видят не мужчину, и даже не бывшего мужа, а персональное счастливое число, предназначенное вознести ее в мир платьев от Шанель, бриллиантов от Граффа, круизов вокруг света, тайной липосакции и головокружительных интрижек. Она сказала, что «один парень с работы» больше не актуален. Я ей верю — ей внезапно открылись новые горизонты, — но не обольщаюсь мыслью, что это я повлиял на ее мнение. По правде сказать, я еще больше чувствую себя мсье Дюмоном.

На второй неделе я оценил свое будущее. Игнорируя многочисленные телефонные звонки жены и друзей, приобретенных за последние несколько дней, я обдумал полет француза-самоубийцы. Я, как и раньше, видел в этом две возможности. Одна — воспользоваться выпавшим шансом, воздать хвалу Господу за чудодейственное избавление и пойти дальше своей дорогой, радуясь и благодаря. Вторая — бросить Богу вызов и сделать шаг в неизвестное. Возможно, это единственная свобода, на которую я могу надеяться. Может, это и есть мое личное счастливое число.

Миссис Парсонс верит, что миллион фунтов полностью изменит ее жизнь. Если бы я тоже так думал, я бы дал ей эту сумму. Но у миссис Парсонс есть нечто, чего никогда не даст мне все мое богатство. У нее есть надежда. У нее есть цель. А что есть у меня?

Вот почему ближе к концу второй недели я решил кончить жизнь самоубийством. Я решил, что все сделаю чисто, но обставлю свой уход из жизни как можно театральнее, связав все разорванные нити. Приняв решение, я впал в отчаянную эйфорию — должно быть, мсье Дюмон испытал нечто подобное утром того дня, когда ему предстоял долгий подъем на башню. Видите ли, мертвецу нечего терять, а человек, которому нечего терять, переходит из состояния отчаяния к состоянию почти блаженства.

Я дал себе неделю. За эту неделю я должен был перепробовать все. Все, на что я раньше не осмеливался. Пойти на каждый риск, который раньше был для меня неприемлем. Я понял, что даже не представлял себе никогда такой свободы: любой момент был неожиданным праздником, каждый час — новым раундом игры со все повышающимися ставками. За неделю, не проведя количественной оценки ни одного риска, не учтя ни одной цифры, я проделал следующее:

Заказал пять порций карамельного пудинга из кондитерской «Фортнум и Мейсон» и съел все в один присест.

Выкурил несколько кубинских сигар.

Попробовал черную икру (впервые в жизни).

Прыгнул с трамплина.

Составил недвусмысленно ясное законное завещание, оставив все деньги бывшей жене — при условии, что она прибавит в весе четыре стоуна и никогда не вступит в другой брак.

Занимался сексом без презерватива с двумя блондинками в кожаной одежде в машине, припаркованной рядом с Шафтсбери-

авеню.

Вытатуировал портрет мсье Дюмона, своего духовного предтечи, на левой ягодице.

Пил розовое шампанское «Лоран-Перье», сидя в ванне, читая при этом дамский роман и слушая Пятую симфонию Малера на новой стереосистеме, при повышенной громкости.

Попробовал кокаин, которым снабдила меня одна из вышеупомянутых блондинок.

Заказал билет на частный самолет в один конец до Парижа.

Съел одну очень слабо прожаренную отбивную на косточке, с двойной порцией жареного картофеля.

Приобрел небольшой пистолет (у друга одной из блондинок, также в кожаной одежде), складной трамплин, шляпу-котелок, зонтик и восковые затычки для ушей.

Несколько раз перешел оживленные улицы, не глядя ни направо, ни налево.

Дважды выстрелил в живот «одному парню с работы», замаскировав пистолет в новом зонтике.

Заметьте, что в этих ситуациях организм начинает вырабатывать адреналин, так что я находился в весьма приподнятом настроении. На мне были шляпа-котелок, один из новых костюмов и очень красивый розовый шелковый галстук, который, как я считаю, придает мне приятный щеголеватый вид. Затычки для ушей тоже оказались весьма разумной предосторожностью (а ведь моя жена всегда называла его тихим и спокойным человеком, подумать только).

Полет в Париж оказался чрезвычайно захватывающим, я бы никогда не поверил, что такое возможно, хотя тут, может быть, дело в кокаине. Жаль, что это мой первый и последний полет — если, впрочем, не считать полета с башни, который, как я полагаю, тоже будет весьма волнующим.

Я впервые за границей. Миссис Парсонс утверждала, что Париж романтичнее всего весной, и я могу подтвердить, что он действительно весьма привлекателен. Синее небо, легкий ветерок, вишни в цвету у тихой Сены. Лепестки вишни кажутся мне очень уместным символом. Ветер подхватывает их и несет, словно розовый снег. Они в точности такого же цвета, как мой новый розовый галстук. Быть может, меня вот так же подхватит и понесет? Сегодня и в самом деле довольно ветрено. В сильный ветер верхние этажи башни закрыты для посетителей. Меня немало позабавило услышанное от уличного торговца на Трокадеро, у которого я

приобрел миниатюрную позолоченную копию башни, — что доступные публике уровни защищены проволочной сеткой и, таким образом, прыгнуть с башни невозможно. Пропасть меж четырех гигантских ног башни тоже затянута сеткой, но это для того, чтобы мусор и прочие неприятные вещи не падали туристам на головы. Вряд ли мне это помешает.

Я решил подняться на башню пешком, подражая мсье Дюмону. До первого (и, в моем случае, последнего) яруса — триста сорок семь железных ступеней; и в самом подъеме есть что-то неуловимо приятное, с религиозным привкусом, словно я — кающийся паломник. Поднимаясь, я думаю о том, что свобода, которой пользовались мсье Дюмон и иже с ним, строго ограничена: колючая проволока не дает покинуть лестницу, и, проходя первую лестничную площадку, я вижу, что даже здесь установлены препятствия и защитные барьеры, чтобы лишить потенциальных мсье Дюмонов их конституционного права на свободное падение. Однако я это предвидел. Я прохожу вторую площадку. Лестница становится гораздо уже и круче. Еще пятьдесят ступенек. Хорошо, что я вел здоровый образ жизни, — теперь я могу преодолеть такую большую лестницу, почти не испытывая физической усталости. Осталось тридцать ступенек. Двадцать.

Цифры и факты, касающиеся Эйфелевой башни:

1887 (год постройки).

18 038 (составных частей).

9700 (вес в тоннах).

31 000 (кубических метров земли перемещено).

2 500 500 (заклепок).

312,27 (метров высоты).

8 000 000 (цена, франков золотом).

57,63 (высота первого этажа, в метрах).

Звучит вроде бы не так страшно, верно? Конечно, любая высота относительна. Я, например, при росте шесть футов один дюйм^[60] считаюсь высоким, хотя мой рост менее чем на три дюйма превышает рост среднего мужчины. Но вот уже Марсово поле стелется у меня под ногами роскошным серо-золотым ковром. На мне один из новых костюмов, розовый галстук, котелок, а в руках — новый чемоданчик-дипломат и зонтик. Не знаю, что надел мсье Дюмон, готовясь к своему историческому прыжку, но надеюсь, что он, как и я, осознал важность момента и оделся соответственно. Французы это умеют; мне хочется думать, что чувство стиля его и в этот раз не подвело.

Достигнув первой площадки, я с удовлетворением замечаю, что посетителей сегодня немного. Может, из-за ветра; может, потому, что еще рано. Я выбираю уединенный угол площадки, подальше от сидящего в застекленной будке *gardien*,^[61] и вытаскиваю из чемоданчика складной трамплин. Его можно разложить и собрать менее чем за минуту (я потренировался), Он на легком алюминиевом каркасе, размером примерно с крышку мусорного контейнера, и плотно стоит на утыканной заклепками платформе. Если я хорошенько оттолкнусь, то пролечу над сетчатым барьером; я все спланировал и рассчитал предполагаемый угол своей траектории. Конечно, поправку на фактор «икс» я сделать не мог. Но в этом вся прелесть, не так ли?

Я стою секунду или две, наслаждаясь видом. Но дольше нельзя: *gardien* уже обратил на меня внимание, вот он недоверчиво и растерянно смотрит через стекло своего аквариума. Однако я не собираюсь ждать, пока он до меня добежит. Я в порядке подготовки пару раз подпрыгиваю на трамплине (приятнейшее ощущение; жаль, что я не занимался этим раньше), сначала слегка, потом повыше, и панорама Парижа зазывно наклоняется подо мной.

Вот я уже взлетаю совсем высоко, а судя по крикам бегущего ко мне *gardien*, пора занимать стартовую позицию. Мне надо пролететь между двумя распорками, над металлической сеткой, и вылететь наружу под углом примерно сорок пять градусов. Весенний Париж. Я уверен, что миссис Парсонс одобрила бы.

Конечно, вероятность, что я повторю эпический прыжок мсье Дюмона, практически равна нулю. Ветер здесь довольно силен, но, видимо, недостаточно, чтобы переместить тело массой двенадцать стоунов шесть фунтов, падающее со скоростью, по моим подсчетам, около шестидесяти миль в час и ускоряющееся с каждой секундой. Вероятность, осмелюсь предположить, около одной пятнадцатимиллионной, но должен признать, что это очень грубая оценка и что мои шансы на самом деле гораздо, гораздо меньше. Конечно, это непросто. И я, не сводя глаз с цели, уже стоя на старте, заявляю, что чувствую себя счастливым. По вере вашей дастся вам, как сказала бы миссис Парсонс. Вера. Надежда. Так недолго и поверить...

...что...

...люди...

...летают...

В ОЖИДАНИИ ГЭНДАЛЬФА

Потому что иногда реальность — все же не совсем то...

Быть монстром порой нелегко. Конечно, кто-то должен это делать, к тому же приятно иногда поколотить волшебника или эльфа, но давайте смотреть правде в глаза: по большей части сидишь в кустах или по колено в ледяной воде, ожидая, пока неосторожный путник на тебя наткнется или, что бывает гораздо чаще, вообще тебя не заметит и пройдет мимо — навстречу новым приключениям, а ты сиди, отмораживай задницу, пока кто-нибудь не вспомнит, что надо бы сказать тебе, куда они все пошли.

Конечно, поначалу тебе об этом не говорят. Якобы лучше монстра должности не сыскать. Ни тебе чувства вины, ни стресса, крутой прикид, и оживать можно сколько угодно раз. Чего еще надо?

Ну, может, конечно, и у монстров в жизни есть свои светлые стороны. Помню, как начинал: шестнадцать лет, книжный мальчик, тощий, отчаявшийся. Конечно, тут была замешана и девушка: полуэльф, двадцатилетняя, рыжая, маленькие резиновые ушки. Красотка. По правде сказать, я и в игру-то пришел из-за нее, но она меня никогда не замечала, разве что подстрелит из лука иногда или мечом изрубит. Но все-таки она меня всегда убивала бережно, дружелюбно, или, по крайней мере, мне хотелось в это верить, и я в ответ всегда особенно старался, когда на нее нападали, пока она не пожаловалась, что я ее преследую, и тогда ее парень (воин-профессионал, с плечами, как у игрока в регби, типичный альфа-самец) велел мне держаться от нее подальше.

Но к тому времени я уже подсел. Меня избивали, убивали, рубили в капусту, мне отрубали голову, накладывали на меня заклятья, подстреливали, телепортировали, зомбифицировали, испепеляли, пыряли ножом, превращали и низводили до слизи. Но я снова приходил каждую субботу, вечером, в снег и дождь, чтобы провести ночные часы в битве против сил света.

Такова дьявольская притягательность живых ролевых игр. Начинается с Толкина — за него, может, еще и в школе похвалят, — а потом тебя медленно затягивает, Стив Джексон^[62] ли, «Games Workshop» ли, ты таишься от родных и друзей, и это не к добру. Родители жалуются, что ты никуда не ходишь, что из твоей комнаты доносятся странные запахи. Друзья начинают тебя избегать; ты околачиваешься в оксфамских^[63]

магазинах; начинаешь понимать, что твоя младшая сестренка находит в «Ксене, королеве воинов», и наконец победоносно выступаешь из своей комнаты, облачившись в вязаный свитер (обрызганный серебрянкой из баллончика, чтоб было похоже на кольчугу), на плечах гордо развеивается занавеска из спальни, в руках резиновый меч, обмотанный серебряной изолентой, и зовут тебя теперь Хрок Великолепный.

Как и следовало ожидать, у родни твое явление вызывает страх и ненависть. Но семя уже упало на благодатную почву; ты вошел в мир крутых ролевых игр; три недели, и ты уже сменил обмотанный изолентой меч на литой из латекса, сплел себе кольчугу из тысяч разрезанных металлических шайбочек и можешь поспорить с гномом по имени Снорри о том, какой рукав лучше — короткий цельнокроеный или реглан.

Теперь пути назад нет. В субботу по вечерам ваш кружок ролевиков — группа благородных героев, группа монстров и судья — собирается на опушке леса. Всю ночь напролет враждующие стороны гоняются друг за другом, проламываются сквозь подлесок, вооруженные до клыков и горящие жаждой убийства. Видите ли, все это вызывает наркотическую зависимость: темнота, азарт охоты, примитивное оружие, первобытный страх. А некоторым — слабакам вроде меня, отчаявшимся, отвергнутым, изгоям, одиночкам и уродам, — приносит столь желанное облегчение, шанс хоть ночь побыть не собой, а кем-то другим.

Две недели из трех я был монстром. На третьей неделе — жрецом-воином по имени Лазарь, пока меня не подстрелил отряд орков; потом бродяжником по имени Путемир — ему удалось добраться до третьего уровня, где его подстерег в засаде злобный служитель культа; потом волшебником по имени Рокоглас, которого внезапно сразил волшебный снаряд и, наконец, варваром по имени Гряз — его бросили в пути, когда он заболел: был январь, снегу по колено, а жилетов варвары не носят.

Те, кого я играл, редко доживали до утра, и поначалу я думал — мне просто не везет. Другие завсегда и росли в чинах, переходили на следующий уровень, набирались опыта и умения, становились практически неуязвимыми. Прошло тридцать лет, и многие из тогдашних до сих пор с нами: Титания, дева-эльф, все такая же рыжеволосая и прекрасная; Литсо, вор; Бельтан, воин, который всем рассказывает, что по выходным занят в Территориальной армии;^[64] Фильберт Сребровлас, старый паладин, — когда мы начинали, ему было уже за сорок, но он и сейчас еще крепок, хотя нынче его меньше тянет в бой, а все больше — к эликсиру, который у него всегда с собой во фляжке. Снорри со своим верным топором тоже до сих пор с нами, и Вельдаррон, боец на мечях, и Мораг, целительница, которая

ходит только потому, что она подруга Вельдаррона, а его вечно ранят. По правде сказать, он и меча в руки не может взять, чтоб не ткнуть им себе же в лицо, но благодаря целительному искусству Мораг он практически достиг бессмертия и приобрел репутацию отменного рубаки.

Вот не знаю, насколько Мораг предана игре. Честно говоря, целительницей быть довольно скучно. У нее бывает такое лицо, когда она думает, что никто не смотрит, и еще у нее есть привычка говорить «Да пофиг», когда кто-нибудь поправляет ее ошибки в заклинаниях. Но Вельдаррон, как известно, неровно дышит к Титании (а кто к ней ровно дышит, спрашивается?), и, должно быть, Мораг считает нужным приглядывать за соперницей. И наконец, Паук. Надо сказать, я за него слегка переживаю: то есть я хочу сказать, фантазии фантазиями, а реальность реальностью, но я не уверен, что Паук чувствует разницу. Взять хотя бы то, что я никогда не видел его вне роли. Все остальные вне игры живут нормальной жизнью: Титания держит книжную лавку с литературой по «ню-эйдж», Вельдаррон — бухгалтер, Литсо работает в налоговой инспекции. А Паук — нет. Насколько известно, он всегда Паук. Никто не знает, как его на самом деле зовут; никто никогда не видел его без игрового костюма. Другие приходят в камуфляже или джинсах, иногда заходят в паб по соседству пропустить пару кружек пива, прежде чем облачиться в костюмы и войти в роли. Но не Паук. Он не любитель дружеского трепа. Спросишь его, видел ли он вчера такой-то фильм по телевизору, а он молча уставится на тебя, словно ты — какая-нибудь живность, которую он нашел под перевернутым камнем. Никто не знает, где он живет. Не верится, что у него обычный дом, с диваном, тостером или хотя бы кроватью. Он охотно зайдет в паб — даже выпьет, если кто-то другой угощает, — но всегда прибывает в полном снаряжении: мечи, арбалет, плащ, кольчуга, заплечный мешок, рубаха, фляга с зельем, пояс с инструментами, амулет. И все снаряжение у него хорошее, профессиональной работы. У всех остальных все по большей части самодельное. У большинства игроков только по одной настоящей, действительно хорошей вещи — обычно это оружие. Но у Паука вроде бы все вещи настоящие.

Взять, например, кольчугу. Она стоит кучу денег, но прилаженная кольчуга, подогнанная по размеру, еще дороже. Качественное оружие из латекса доходит в цене до трехсот фунтов, а у Паука целый арсенал: длинные мечи, полуторные мечи, короткие мечи, щиты, кинжалы, арбалеты с особенными стрелами; да еще настоящее оружие, которое он носит с собой для понта (не может же он использовать его в бою). Для ролевой игры то, что надо, но вот в деревенском пабе в субботний вечер может

оказаться не к месту.

Хотя ему на это плевать. Его не задевают насмешки и косые взгляды. А после прошлогодней истории с толпой футбольных фанатов большинство наших обходят его стороной и не рассказывают при нем анекдотов из «Властелина колец». Потому что Паук в отличие от Вельдэррона драться умеет; я как монстр со стажем могу подтвердить. Понимаете, у него большой опыт. За тридцать лет у него не наберется и дюжины ран. А когда его ранят, он относится к этому очень серьезно — тут тебе и бутылочки бутафорской крови, и нанесенные гримом шрамы. Более того, я подозреваю, что он потом татуирует эти шрамы, чтобы их увековечить, — я точно знаю, что у него до сих пор остался шрам от волшебного снаряда, которым я, будучи злым служителем культа, попал в него пять лет назад. Он был страшно зол, что я стрелял ему в спину, — казалось, готов меня убить, хоть Титания, чья очередь была судить, и решила, что выстрел был честный, и Мораг Первой (одной из предшественниц нынешней Мораг) пришлось Паука быстренько исцелять. С тех пор я его чуть побаиваюсь.

Ну и конечно, монстры. Сегодня вечером нас десять: по большей части случайные люди, а не постоянные участники вроде Титании, Паука и меня. Университет — хорошее место для поиска «мечевого мяса»: у большинства студентов куча свободного времени, они бодры, энергичны, и ими, как правило, легко управлять. Но все же руководить обязательно должен опытный игрок, потому я здесь. Неопытные монстры порой увлекаются: не учитывают, сколько раз в них попали, вообще слишком возбуждаются. Моя задача — держать их под контролем. Следить, чтобы они играли по правилам. Следить, чтобы никого не убили по-настоящему. Потому что в этих лесах что угодно может случиться: тут темно, нервы натянуты; иногда, если игра пошла, можно честно поверить, что это все настоящее, что в лесу по правде рыщут орки, волки-оборотни или нежить. Можно почти поверить, что ты за много миль от цивилизации, единственный свет — лунный, любая тень может оказаться врагом. Одно неверное движение, и ты мертв; когда это понимаешь, каждое нервное окончание словно поджаривается на огне, все чувства обостряются.

А бывает, игра не заладилась: идет дождь; ты подвернул ногу; твои дорожные сапоги в собачьем дерьме, а из местного паба долетают звуки караоке; потом подъезжает полицейская машина, разобраться, отчего шум, и ты как наиболее опытный участник вынужден объяснять дежурному констеблю, с какой именно целью ты болтаешься по лесу в час ночи в костюме гоблина и весь в грязи. Как я уже сказал, быть монстром порой

нелегко.

Сегодняшняя ночь — ни то ни сё. Правда, слегка накрапывает. Но сквозь рваные тучи видна четвертушка луны и не слишком холодно. Создает атмосферу. Сейчас я сижу в ветровке под деревом и перебираю бланки протоколов. Сегодня моя очередь быть судьей. Я жду не дождусь.

Монстры уже здесь. Если среди них нет опытных игроков, то сначала надо их ввести в курс дела, чтобы они знали, примерно чего можно ожидать и какие костюмы им следует надеть. Надо распределить роли, объяснить правила. Часто среди них бывают новички: какой-нибудь прыщавый студент в камуфляже решил попытать счастья. Сегодня таких трое; все они хихикают и чересчур возбуждены. Не знаю, как их зовут — иногда нет смысла запоминать имена, слишком быстрый оборот участников. Другие — мои ученики, шестиклассники, им лет по семнадцать, самое большее восемнадцать: Мэтт, Пит, Стюарт, Скотт, Джейс и Энди. И конечно, я. Смити. Бессменный монстр.

Я, конечно, знаю, что я для них — ходячий анекдот. Сорок шесть лет, тощий, лысеющий, отчаявшийся. Я знаю, что вне роли я похож на учителя географии — что вполне понятно, поскольку я и есть учитель географии, — и я заметил, что иногда, когда я подхожу к группе, воцаряется неловкая тишина; и еще я видел, как переглядываются новички, когда думают, что я их не вижу. Бедняга Смити, вот что они думают. Вечно отстает на три шага. Господи, вот ведь лузер. Не дай бог превратиться в такое убожество.

Но в игре по старинным правилам есть что-то особенное. Им не понять — восемнадцатилетним, бессмертным; через пару недель они переключатся на другую игру или, еще хуже, отпочкуются и вместе с другими детьми, своими ровесниками, образуют новую группу, изменяя правила под себя, чтобы весело провести время. Я пытаюсь объяснить им, что мы собрались не для веселого времяпрепровождения. Они думают, что мы все это затеяли ради костюмов и побрякушек: кучка фетишистов и луддитов, вроде людей, которые одеваются в костюмы из «Стартрека», или тех, которые живут в вигвамах с овцами и без центрального отопления.

Но смысл игры совсем не в костюмах и побрякушках. Смысл игры — честь, законы, добро и зло. Смерть и слава. И еще истина — которая не в том, что драконы есть на свете, но в том, что их можно победить. Потому что мне с годами все сильнее хочется верить в то, что их можно победить. Фильберт понял бы, о чем я, — его жена умерла от рака двадцать лет назад, и, кроме нас, у него никого не осталось. И у Титании тоже — ей под пятьдесят и детей у нее нет; и у Литсо, который всю свою жизнь, кроме этих ночей с субботы на воскресенье, притворяется натуралом. Эти

детишки просто ничего не знают: не знают, каково тебе возвращаться в обычную, убогую, нереальную жизнь — две комнатухи, три полена в камине, спящая кошка; каково тебе, когда поколения учеников зовут тебя «Убогий»; каково лежать ночами без сна, с комом в желудке, глядя на электрические звезды: каждая — окно, каждая — дом. Об этом и говорит Паук, когда вообще что-нибудь говорит, а это бывает не так часто. Эти вещи не для нас, говорит он. Дом, жена, дети. Это для обывателей. Обычных людей. Людей с нереальной жизнью.

— Долго еще? — Один из новичков глядит на часы.

Знаете таких: нетерпеливый, нервный, презрительный, холодный; сюда его занесло только потому, что кто-то (может, даже я) намекнул на опасность, на что-то тайное, запретное.

— Уже скоро. — (Вообще-то, кажется, они сегодня и вправду подзадержались; уже одиннадцать, а кругом мертвая тишина.) — Берите снаряжение.

Он бросает на меня презрительный взгляд и натягивает маску. Маска из латекса, довольно реалистичная — я их сам делаю, и они гораздо лучше покупных. Я ловлю себя на желании, чтобы его убили первым.

— Потому что мне сегодня ночью могло повезти, — продолжает новичок вполголоса. — Одна соска в «Мешке шерсти» на меня явно глаз положила.

На самом деле это очень печально. Мы оба прекрасно представляем себе его жизнь. Мы оба знаем, что ему никогда не повезет. Но спорить некогда: от деревьев отделяется тень, и по шуму — и еще по размеру меча за спиной — узнаю Вельдаррона. С ним Мораг, вид у нее усталый и недовольный — должно быть, опять поругались. Но все-таки я рад, что они появились первыми, — кое-кто из остальных может своим видом ошарашить непривычного человека, а мне сегодня ночью не нужно никаких проблем. Кроме того, я знаю этих студентов: половина из них пришли только потому, что надеется подцепить какую-нибудь юную воительницу в облегающих кожаных одеждах; а Мораг хоть и не очень похожа на Ксену, но она хотя бы женщина и в свои двадцать девять по возрасту куда ближе к студентам, чем все остальные.

Я приветствую парочку своей обычной мантрой: «Сегодня славный день для смерти», надеясь создать соответствующий боевой настрой. Но они подходят ближе, и я замечаю, что с Мораг что-то неладно. Лицо ее застыло, губы плотно сжаты, и, что гораздо хуже, она не в костюме — в джинсах и куртке, вместо обычных одежд целительницы и плаща с капюшоном. Черт, думаю я. И чертов Вельдаррон, который подчеркнута

делает вид, что идет сам по себе, картинно изображает выпады в сторону сухого дерева и, как всегда ждет, чтобы я все уладил.

— Что такое? — спрашиваю я у Мораг. — Ты почему не в костюме?

— Смити, я ухожу.

— Что случилось?

От единственного взгляда Мораг у меня падает сердце. Конечно, уже не первый раз девушки Вельдаррона бросают нас в ответственный момент (он эгоист и хам, и я совершенно не понимаю, что они в нем находят), но лишиться целительницы, единственной целительницы, и притом в одиннадцать часов в ночь с субботы на воскресенье, — это катастрофа глобального масштаба.

— Но нам без тебя никак, — наконец выдавливаю я из себя. — Мне надо проводить игру, и мы не можем без целительницы.

— Ничем не могу помочь, — пожимает плечами Мораг. — Я ухожу. Скажи Даррену, пусть ищет другую дуру. Я уже поумнела.

— Но, Мораг...

Она вдруг накидывается на меня.

— И я не Мораг, черт возьми! — орет она. — Смити, я уже шесть лет сюда хожу, а ты даже не знаешь, как меня зовут!

Это к вопросу о постоянстве. С какой радости я должен знать, как ее зовут, недоумеваю я, глядя, как она удаляется по залитой лунным светом прогалине. Более того, за шесть лет можно было запомнить, что во время игры участников никогда — *никогда* — не зовут настоящим именем. Неудивительно, что у Вельдаррона такой ошарашенный вид. И все же, хоть я и не сомневаюсь, что Вельдаррон к следующей игре найдет новую Мораг, ее неожиданный уход сильно осложняет мне задачу. У меня на руках довольно серьезная группа молодых монстров для сегодняшней игры. В любом случае, сейчас уже поздно что-либо менять; можно только надеяться, что игра будет недолгой, нам повезет, монстры не выйдут из-под контроля и нас не ждут больше никакие неприятные сюрпризы.

Вот явились и остальные участники — с Фильбертом во главе. Он зовет себя Фильберт Сребровлас, хотя все знают, что это у него парик. Сегодня он кажется меньше ростом, согбен под тяжестью доспехов, хотя в лунном свете все еще неплохо выглядит. В гордой старой голове есть некое благородство, словно в разрушенной арке, стоящей посреди поля — бесцельно, но с достоинством. Конечно, было время, когда я думал иначе: когда-то я был молод и, стыдно признаться, посмеивался — в те дни, когда сорок лет казались невозможной старостью.

И конечно, кто-то из новичков смеется. Фильберт не слышит — он

глуховат, но у меня уже нервы на пределе после инцидента с Мораг и меня охватывает неоправданный гнев. Отрывисто командуя, я расставляю монстров в колонну за большим кустом к тому времени, как начинают собираться искатели приключений. Вот Литсо — как всегда в женском платье; Бельтан — под рыцарским плащом у него совсем не средневекового вида камуфляж; Юпитус в неудобных длинных одеждах волшебника; Снорри со своим топором.

Новички опять смеются. Я этого ждал; иные персонажи должны казаться им довольно смешными, особенно Литсо с его рваными колготками в сеточку и кожаной юбкой. Но сегодня этот смех мне особенно неприятен. Может быть, из-за Мораг; может, потому, что я сегодня за главного; может, потому, что все-таки это не очень вежливо. Как бы там ни было, новички еще поплатятся за этот смех. Мне не нравится их отношение. Литсо оно тоже не нравится. У нас есть правило: запрещается комментировать персонажи других игроков, какими бы причудливыми они ни были. Фильберт (который в другой жизни был профессором психологии) говорит, это потому, что ролевая игра обладает катарсическим действием: она позволяет человеку реализовать фантазии, которые, будучи подавленными, могут вредить личности. Во время этих сессий мы изгоняем чувство вины, страх, боязнь насмешки и выходим очищенными, обновленными. Я готов объяснить это новичкам, но уже нет времени: вот из подлеска абсолютно бесшумно выступает Паук, а за ним по пятам наконец-то Титания.

Титания. У меня, как всегда, чуть подпрыгивает сердце. Потому что она не изменилась на самом деле. Костюм, конечно, пару раз перешит, чтобы вместить полнеющий стан, но для меня она до сих пор прекрасна: рыжие волосы распущены по плечам, в руке — легкий меч.

У меня за спиной кто-то что-то сказал. Слов я не разобрал, но, кажется, какую-то гадость. Я быстро оборачиваюсь, но лица ничего не выражают. Монстры-завсегдатаи — Мэтт, Пит, Стюарт, Скотт, Джейс и Энди — старательно делают вид, что их ничего не касается; новичок, который жаловался на ожидание, барабанит пальцами, но, если не считать этого, все тихо. Это хорошо. По крайней мере, у них хватает ума не смеяться в лицо Пауку.

Дождь пошел всерьез. Пауку все равно: он вступает на прогалинку у большого куста, и я вижу капли дождя, сверкающие в его косах. Я протягиваю ему текст инструктажа — написанный рунами, потому что обычного шрифта Паук не читает, — и веду группу монстров в лес на место первой стычки.

С прогалины доносятся голоса благородных героев. Они обсуждают потерю целительницы, на ходу меняют стратегию, перераспределяют бальзамы и зелья.

— Так, слушайте, — говорю я монстрам. — Сегодня вы все должны быть вдвойне осторожны. У нас не хватает одного игрока, и его нечем заменить, поэтому очень важно, чтобы мы делали свое дело как следует и не увлекались. Для первой стычки вы все — упыри, три попадания на каждого, так что надевайте маски и занимайте позицию.

Я не торопясь оглядываю каждого из монстров, в первую очередь новичков, которые стоят рядом, нервничая и переминаясь с ноги на ногу.

— Не забудьте, — говорю я. — По три попадания на каждого. Не больше. В группе нет целителя, а мне не надо несчастных случаев в сегодняшней игре.

Кто-то давится смехом. Новичок, тот самый, нетерпеливый, который жаловался на ожидание.

— Что такое? — спрашиваю я, придав голосу резкости.

— Ничего. — Он умудряется даже единственное слово произнести так, что оно звучит оскорблением.

Мне хочется его проучить. Но времени нет; кроме того, я посмотрю, как он будет смеяться через минуту. От этой мысли мне чуть легче. Упыри спрятались в кустах, но не очень хорошо; упыри — довольно тормозные твари, и справиться с ними несложно. Эта стычка — только для разминки, для разогрева. Дую в свисток. Время пошло.

Вот он, момент: тайный, упоительный кайф. Ради него мы и играем — всегда ради него. Он гораздо больше, чем игра, больше, чем катарсис. Эти юнцы не чувствуют того же, что мы — Титания, Фильберт, Паук и я. Это чувство пьянит. В нем волшебство. Мы герои, как в песне Дэвида Боуи; неподвластны старости, неподвластны времени; мы (на минуту, на час, на ночь) в сонме бессмертных.

Ага. Вот и благородные герои. Бельтан и Вельдаррон в авангарде, Паук замыкает цепочку, Литсо — лазутчик — впереди. Монстры уже готовы: беспокойный новичок тихо заходит с тыла, проявляя гораздо большую ловкость, чем положено обычному упырю. Но он все-таки старается; не могу же я его за это оштрафовать.

Первый удар наносит кто-то из постоянных игроков. Это Пит, студент, не забывающий играть роль, — он движется, вытянув руки перед собой и слегка пошатываясь. К нему присоединяется Скотт, а потом Энди — они отрезают Литсо от остальной группы, теперь он вынужден биться сразу с тремя. Настало время для бойцов — но Бельтан уже дерется с Джейсом и

Мэттом, а Вельдаррон не торопится в бой, видимо, помня об отсутствии Мораг.

Новички пока переживают — для упырей это слишком сложная стратегия, но все равно герои должны справиться без проблем. Литсо пару раз ранят в правую руку — это слабое место в его защите, а Вельдаррона полоснули по ребрам, но в основном героям удалось легко отразить атаку монстров. Тридцать секунд, и все, кроме новичков, уже полегли. Их главарь — беспокойный юнец, возглавивший атаку, — довольно умело бьется с Бельтаном, но мне трудно поверить, что в него попали меньше трех раз; а что до остальных, то они вообще не реагируют на попадания, просто игнорируют их и стараются нанести как можно больше ущерба.

— В полную силу не бить! — гневно кричит Титания, получив удар мечом плашмя по лицу, но трое новичков не сдаются; вместо этого первый сдирает мешающую маску и с громким боевым кличем бросается в гущу драки.

— Эй! Кучей не нападать! — кричит Вельдаррон, на которого навалились трое монстров разом.

Все верно: это одно из главных правил, я старательно втолковывал его новичкам, но они, должно быть, забыли в горячке боя. Вдобавок Вельдаррон так увлекся криком, что удар приходится в воздух, и к тому времени, как вмешивается Паук, сразив всех трех упырей со спины серией яростных выпадов, Вельдаррон уже лежит на земле с несколькими серьезными ранами.

Разбор после битвы проходит с шумом и руганью. Я вынужден признать, что Вельдаррон выведен из строя, отчего он страшно злится, а монстры раздражаются победными криками. Литсо тоже причинили унижительное увечье, а Титания жалуется, что ей пришлось нанести своему упырю не меньше двадцати ударов, пока он наконец согласился лечь и помереть. Я провожу беседу с монстрами на эту тему — постоянные игроки ведут себя корректно, а вот отношение новичков к игре мне совершенно не нравится.

— Двадцать ударов? Да она шутит. Она вообще ни разу не попала.

— Удар должен быть убедительный. Если ты его не чувствуешь, это не считается.

Я повторяю то, что уже один раз говорил, — про подсчет попаданий и ослабление ударов. Я почти уверен, что новичок-заводила скорчил гримасу.

— Что такое? — опять спрашиваю я.

— Ничего. — Он пожимает плечами.

Но игра уже испорчена. Я это чувствую: попытка бунта на корабле.

Еще две стычки, и отряд героев натывается на шайку бандитов, которые сопротивляются гораздо яростнее, чем предполагалось. Литсо получает еще два удара, Фильберт — четыре, Титания и Бельтан — по одному, но волшебнику Юпитусу удается покончить с врагами, ловко сотворив цепочку заклинаний. Монстры слегка ропщут и что-то бормочут насчет мести, так что мне опять приходится напомнить о необходимости играть по правилам.

— Это ж только игра, — обиженно говорит один новичок. — Не вопрос жизни и смерти, так?

Именно что вопрос жизни и смерти. Я хотел бы ему это объяснить, но пропасть между нами слишком широка. Жизнь начинается в игре и кончается схваткой со смертью. Я стараюсь организовать следующую стычку как можно быстрее, но все равно проходит какое-то время; один из новичков затягивает «Чего мы ждем?»,^[65] и, что крайне неприятно, остальные подхватывают.

К этому времени на отряде героев уже начинает сказываться отсутствие целительницы. К пятой стычке Литсо выходит из строя, Фильберт едва ли в лучшем состоянии, а у Бельтана осталось только пять попаданий. Один лишь Паук спокоен и невредим — косит монстров удар за ударом. Беспоконный новичок явно недоволен, но молчит. Так уж Паук действует на людей.

Вот уже седьмая стычка. Отряд больше никого не потерял, но пал духом, и все, кроме Паука, ранены хотя бы единожды. Я чувствую себя виноватым, хотя знаю, что я тут ни при чем: иногда игра ладится, иногда — нет, вот и все, а новички — это всегда рискованно. Но все же я чувствую, что моя небольшая группа не полностью у меня под контролем; от этого на душе неспокойно, словно часть моей воображаемой жизни просочилась в эту, реальную.

Во время разбора стычки один из новичков закуривает. Это против правил, но я настолько неуверен в себе, что не решаюсь призвать его к ответу. Монстры-завсегдатаи — Скотт, Мэтт, Джейс и прочие — кажется, тоже беспокойны, словно они подали друг другу какой-то знак, и за спиной у меня шушукаются и смеются, пока я занимаюсь своими делами. Мне от этого не по себе. По учительскому опыту я знаю, насколько может быть опасен один смутьян; и за сегодняшнюю игру я все больше убеждаюсь, что мои новички — особенно один из них — воплощение смутьянского духа. Они меня словно испытывают, проверяют мою реакцию на их колкости, бросают вызов моему авторитету.

— Так, — отрывисто говорю я, раздавая листки инструкций для

следующей стычки. — На этот раз вы не враги. Вы — отряд солдат из другого лагеря и можете продать тому отряду целительные снадобья, если у них есть что предложить взамен.

Я включил эту сцену, чтобы как-то решить проблему Мораг. Беспокойный новичок корчит рожу, и я вижу, что перспектива мирной встречи его не радует.

— А если они на нас нападут? — спрашивает он.

— Тогда будете драться, — отвечаю я. — Но вы не должны быть инициаторами.

— Инициаторами? Это чего такое? — ехидно спрашивает новичок.

Я смотрю на него.

— Тебе что-то не нравится?

Он пожимает плечами.

— Я спросил, тебе что-то не нравится?

Новичок ухмыляется, умудряясь изобразить одновременно застенчивость и наглость.

— Ну, просто вы все так всерьез принимаете, — говорит он наконец. — Можно подумать, это все на самом деле. Ну, правда, это ведь всего лишь игра. Вы только посмотрите на себя. Один — старый пердун в страшнолюдном парике, другой — псих в юбке, и эта жирная...

И тут я ломаюсь. Да, мы привыкли к колкостям и насмешкам, к тому, что нас зовут убогими, уродами, мутантами и все такое. Но он посмел задеть Титанию, мою Титанию, и, более того, пренебрежительно отозваться об игре — и я хватаю первое попавшееся оружие, длинный полуторный меч, и автоматически принимаю боевую стойку.

— Я тебе покажу игру, — говорю я. — Чудовище.

Новичок пугается и пятится, но я слишком зол, чтобы остановиться. У меня в голове только одна мысль, этот мальчишка оскорбил Титанию, воина, у которого за плечами бесчисленные успешные кампании, женщину, чья красота и благородство вошли в легенды, и это оскорбление — нанесенное как ей, так и всем нам — не должно остаться безнаказанным.

— Время пошло! — кричу я. — Отряд, сюда!

Это катарсис. Я никогда еще не впадал в такую ярость — с некоторыми игроками этого вообще не бывает за десятилетия игры, но лучшим обычно удается хотя бы раз, перед лицом непреодолимой опасности. Помню, как это случилось с Пауком в одном пабе в Ноттингеме, в те дни, когда люди еще посмеивались над ним у него за спиной, и я пытался — безуспешно — представить себе это ощущение: свободу, кайф, радость. Теперь я знаю; и пока мои друзья бегут ко мне, чтобы принять бой

плечом к плечу со мной, я понимаю, что наш враг — совсем не этот мальчишка, плохо воспитанный новичок с поганым языком. Наш враг — нечто бесконечно более опасное, омерзительное и грозное: создание с бесчисленными головами, и у каждой на лице та же смесь юного презрения и невежественной самовлюбленности. Тридцать лет мы выслеживали противника, не зная толком, за кем же мы охотимся; тридцать лет мы довольствовались второсортными заменами, в то время как настоящий враг был на расстоянии вытянутой руки.

Другие тоже это чувствуют; они присоединяются ко мне, хватая лежащее вокруг оружие, и занимают стойку спина к спине, как в старые добрые времена: Литсо, мечущий копья в ряды врагов; Паук, с мечом в каждой руке, одна рука окровавлена. Фильберт падает, но мы отомстим за него; я вижу искаженное лицо Титании, выкрикивающей какое-то заклинание, и опять бросаюсь на орду врагов.

Вельдаррон падает; вокруг меня монстры кричат и наносят удары — дубинами, мечами, топорами. Я вижу Мэтта с окровавленным лицом, но теперь я знаю, кто он, знаю их всех. Они — тот враг, которого никак не победить: насмешливая армия юности, многоголовая, неуничтожимая.

Бельган падает, Снорри окружен. Мы рубим направо и налево, вопли о пощаде и мольбы монстров не трогают нас. Удары сыплются мне на спину, но я их почти не чувствую. Падает Юпитус, потом Титания, моя Титания. Сердце у меня бьется, как молот, словно вот-вот разорвется.

Остались только мы с Пауком. Наши взгляды скрещиваются над полем битвы, и я вижу на его лице то, чего ни разу не видел раньше, за все тридцать лет совместных боев: чистую, самозабвенную радость. Секунду он смотрит мне в глаза. И я тоже ощущаю все это: радость, экстаз. Наши товарищи пали. Враг силен. Но мы воины, я и Паук. И сегодня — славный день для смерти.

— Пощады не будет! — громовым голосом кричу я и ликую, потому что враг наконец бежит — те, кто еще может бежать.

Только беспокойный новичок все сопротивляется. Я вижу, что у него шевелятся губы, он обращается ко мне, но у меня отключился слух. Лицо его искажено нерешительностью, он словно не верит своим глазам, — а у его ног что-то лежит, что-то мягкое, скулит и дергается.

Мы с Пауком разом бросаемся на него. Наши мечи разят его в дюжине мест. И только теперь, когда последний враг пал и туман спадает у меня с глаз, я вижу кровь на брошенном мече Паука, черную в лунном свете, и вспоминаю об оружии, которое он носит с собой для понтов, только для понтов и для особых случаев, вместе с тем, что так старательно сделано и

спроектировано для безопасности.

Поле битвы усеяно телами: наших и врагов. Только одного человека мы недосчитываемся. Но это я и так знаю. Слабый шорох в подлеске — единственное, что свидетельствует о его уходе. Я знаю по опыту, что он не оставит следов. Титания лежит на краю поля; она оглушена, но не ранена, и я помогаю ей встать, охваченный незаметной дрожью украденного счастья. Бельтан тоже невредим, если не считать ссадины поперек лица; через пару секунд из кустов возникает Литсо, на лице у него испуг и облегчение. Как мы узнали позже, не выжил только Фильберт — его старое сердце не выдержало такого напряжения. Но все же, как говорит Вельдаррон, он умер в бою, а это главное.

— А что делать с монстрами? — спрашивает Титания, глядя на тела. — Ужас какой-то. Неужели Паук не мог приберечь парочку на следующий раз?

— Да ладно, милая, — говорю я. — Мы славно сразились. И кроме того, мы всегда успеем набрать новых монстров из политехнического. Там как раз открылся клуб любителей фэнтези. Через неделю у нас будет людей сколько нужно. Титания, ну посмотри на меня. — Я бережно вытираю кровь у нее со щеки. — Я тебя когда-нибудь подводил? Ну скажи мне.

Она колеблется.

— Конечно нет, Смити, — говорит она. — Просто...

Она опять, сдвинув брови, глядит на мертвых монстров.

— Просто я иногда думаю, что сказали бы об этом другие... ну, знаешь, обычные люди... обыватели...

Я удивленно гляжу на нее.

— Обыватели? Они-то тут при чем?

Она неохотно улыбается.

— Должно быть, я к старости становлюсь сентиментальна.

— Ты не старая, Титания, — робко говорю я. — Ты красивая.

На этот раз она улыбается уверенней. Она бегло, нежно целует меня в угол рта.

— Смити, ты такой хороший.

Награда победителю. Ее волосы еще слегка пахнут дымом после паба, а губы соленые на вкус. Я целую ее, а за спиной у меня Вельдаррон и прочие стоят, уставившись на нас круглыми глазами, с одинаковыми потрясенно-завистливыми лицами.

— Так что мы делаем дальше? — Это Снорри, вид у него слегка обеспокоенный, он смотрит на трупы монстров.

— Наверное, я все уберу. — В конце концов, это моя обязанность, я же

судья.

Снорри это, похоже, не успокаивает.

— Паук явно увлекся, черт бы его драл, как ты думаешь? То есть новичков-то нетрудно заменить, а вот хороших монстров найти не так просто.

— Предоставь это мне, — отвечаю я. — Я с ним поговорю.

Воцаряется неловкое молчание.

— Наверное, ты теперь захочешь сменить персонаж, — говорит наконец Титания. — Теперь, когда Фильберта нету, нам понадобится боец, а ты ведь тренировался, правда? Кое-какие приемы с мечом у тебя просто отлично получаются.

Это предложение очень трогательно — и лестно. Пока я думаю, обдумываю, что это может означать, моим друзьям явно не по себе. Внезапно я чувствую прилив нежности к ним ко всем: знакомые лица, самодельные костюмы, кольчуги из разрезанных шайбочек, морщинки, неколебимая вера. Но они ведь не обойдутся без Смити, который для них все устраивает. Может, монстром быть и не всегда весело, но, чтобы быть хорошим монстром, нужна преданность делу, преданность и выдержка. Паук не справится, и никто другой тоже. Титания с застывшим, побелевшим лицом ждет моего решения; я знаю, чего ей стоило это предложение, но я также сознаю свой долг.

— Наверное, нет, — говорю я, качая головой. — Я все-таки предпочитаю заниматься тем, что у меня лучше получается.

Напряжение в компании явно спадает.

— Смити, ты молодец, — говорит Вельдаррон, хлопая меня по спине.

— Да. Молодец наш Смити.

Я оглядываю кружок друзей.

— Ну что, в следующую субботу как обычно?

Все кивают.

— Угу.

— На том же месте, в тот же час?

— Почему бы и нет.

Как я уже сказал, и у монстра в жизни есть свои светлые стороны. Я гляжу на друзей, уходящих в лес по залитой лунным светом тропе, и чувствую полнейшее, почти волшебное умиротворение. Враг побежден — по крайней мере, на этот раз. Кто знает, что принесет следующая неделя? Хоть я и избавляюсь от отходов тщательнейшим образом, вряд ли исчезновение девяти студентов надолго останется незамеченным. Возможно, что к следующей субботе — или через одну — нам придется

сменить охотничьи угодья. Конечно, такая неопределенность придает игре дополнительную остроту. Но я знаю: что бы нас ни ждало в пока туманном будущем, мы встанем против него плечом к плечу — Вельдаррон, Паук, Титания и я. Обычным людям, живущим блеклой, обыденной, нереальной жизнью, никогда этого не понять, вдруг осознаю я, и меня охватывает жалость; я достаю лопату, начинаю копать и вдруг, к своему удивлению, обнаруживаю, что тихо насвистываю.

СЕКСИПУПСИК

Ее полное имя — Долорес Сексипупсик. Уменьшительное — Долли, или Лолли, или Ло. Очень удобно, когда у потенциального потребителя есть имя; тогда чувствуешь, что творишь продукт для реального человека, а не для безличного усредненного пользователя, лишенного мечты и индивидуальности. Потому что главное в Сексипупсике (так называется наш бренд одежды) — индивидуальность. Вот почему наши коллекции пользуются таким спросом (я моделирую одежду для Долли, младшей из девочек-Сексипупсиков): это помогает потребителям отождествлять себя с Долли, любить ее, может быть, даже немножко завидовать ей. Конечно, я лишь один из модельеров, один из многих, кто занимается линией «Летние сплетни», но все равно у меня такое чувство, что я ее близко знаю и люблю.

Ее внешность туманна. Может быть, она блондинка. А может быть, брюнетка или рыженькая. Мы стараемся не создавать слишком определенной визуальной картины; как мы всегда говорим, каждая может стать Сексипупсиком независимо от фигуры, размера, цвета волос. Вместо этого мы концентрируемся на двух линиях: «Стиль» и «Личность» — именно они сделали «Сексипупсик» ведущим брендом десятилетия в молодежной одежде.

Долли — независимая, темпераментная, современная девица. Она знает, чего хочет, и не стесняется об этом заявить; и новая летняя мода отражает это во всей полноте. Топики, открывающие живот, сексуальные слоганы, дерзкие контрасты (кожа и кружево, резина и шифон) носят с микроюбкой или зазывно облегающими брюками — сексуальной вариацией городского ретро.

Она не боится своих чувств; она то сирена, то шаловливая девчонка, и одежда выражает ее сокровенное «я». Глубокие вырезы получают оригинальное переосмысление, будучи исполненными в бордовой коже или золотой кольчужной сетке; а новинка сезона — серебристые сапоги с заклепками и молниями — остроумно намекает на былые славные дни научно-фантастических сериалов. Но у Долли есть и чувство юмора. Она любит оригинальные сочетания (белое мини-платье без бретелек с меховой отделкой в комплекте с зелеными сапожками, украшенными аппликацией — парой красных губ), иронические постфеминистские слоганы (я горжусь тем, что футболку моего собственного дизайна с надписью «Трахни меня, урод!» расхватили за день), а для особых случаев предпочитает

откровенный гламур без комплексов, с затянутой в рюмочку талией, вышитыми джинсами с разрезом в промежности, облегающими неопреновыми платьицами — телесно-розовыми, черными, оранжевыми.

Конечно, мы получаем свою долю критики. Но мятеж всегда был неотъемлем от мира моды; сегодняшний авангард завтра будет всего лишь винтажной классикой. Популярность линий товаров для Долли говорит сама за себя: прошлогоднее розовое резиновое мини-платье (признаюсь, тоже моя работа) уже покупают коллекционеры, а остроумная коллекция аксессуаров: сумочки, сапожки, шарфы, трусики, все с логотипом «Сексипупсика» — розовыми губками, сосущими красный леденец, — вызвала бурю восторженных откликов в журналах «Рог», «Ура» и «Чмоки!».

Но особенно меня задевает, даже ранит, то, что некоторые находят наши модели неэтичными. Как написали в сентябрьском «Гардиан»: «Уродливо карикатурная Долли, символ бренда „Сексипупсик“, особенно омерзительна. Пластмассовая циничная маленькая мадам в дизайнерских одеждах и уродующей ноги обуви, она представляет все наиболее чудовищные черты современной молодежи: потерю невинности, потерю красоты и, самое главное, потерю человеческого достоинства».

Мне больно это читать. Честно. Потому что я люблю Долли. Я люблю всех девочек-Сексипупсиков, и для меня нет в жизни большего счастья, чем изобретать для них новые и прекрасные вещи, давая возможность самовыражения. Взрослый мир всегда будет презирать вкусы юного поколения, это ненависть к сопернику в сексуальном и эмоциональном плане; и эта лихорадочная ненависть и отвержение, направленные на мою бедняжку Долли и ее сестер, показывают, до какой степени взрослые воспринимают юность как угрозу. Конечно, они думают, что она слишком молода. Это голос взрослого, который при виде прекрасного юного существа в броской одежде визжит от испуга: «Не смей выходить в таком виде!» Это голос зависти, возрождающейся из поколения в поколение.

Однако мы в «Сексипупсике» прислушиваемся к потребительнице, а не к ее родителям. Мы понимаем ее отчаяние, жажду бунта. Поэтому коллекция «Летние сплетни» — мое детище, которым я очень горжусь, — произведет революцию на рынке молодежной одежды. Трусики танга с логотипом — малиновые или ядовито-зеленые, футболки с нашим новым слоганом «Сексипупсик: хочу, но стесняюсь», модные сапожки в тон и остроумные комбинезончики с классическим узором «Сексипупсика» легли в основу коллекции, которая, я надеюсь, наконец выведет меня в высшую лигу. Потому что, как я ни люблю Долли, она всего лишь начало. У ее

сестричек (Лолли и Ло) из родственных линеек гораздо больше разнообразия в размерах и моделях, и если меня переведут на Лолли — или даже на Ло, — тогда я по-настоящему развернусь. Конечно, и с Долли интересно, и она требует работы с полной отдачей; но я все же думаю, что мой талант пропадает на разработке одежды для грудничков. Дайте мне шанс попробовать себя с девяти-десятилетними или даже с группой одиннадцать-плюс, и я покажу, на что я на самом деле способен.

Идея этого неприятного рассказика пришла ко мне, когда мы с дочерью ходили за покупками. В одном магазине одежды мы наткнулись на девочку в топике с напечатанным на нем слоганом: «Сексипупсик: хочу, но стесняюсь». Девочке было от силы лет пять.

РУСАЛОЧКА

Эта история пришла ко мне в спортзале. Не самое любимое мною место.

Каждый вторник спортзал «Дело в теле» распахивает свои двери для уродов. Надо полагать, руководство не хочет оскорблять взоры постоянных посетителей: люди приходят в зал тренироваться и смотреть на красивые тела, а не на калек, даунят и прочих уродов, ползающих вокруг бассейна. Поэтому нам выделили день — вторник, как я уже сказал, — и особые часы (с одиннадцати до двух) для красоты и здоровья, когда мы можем дергаться и капать слюной сколько душе угодно, не расстраивая нормальных людей понапрасну.

Не думайте, что я на них в обиде. Черт возьми, да мне и самому не захотелось бы на себя смотреть. Огромный торс сундуком, под ним болтаются маленькие ножки, шрамы такие, что вам про них лучше не знать; а спасибо за это надо сказать большому трейлеру на подступах к Манчестеру, водителю, который трепался по мобиле, и моему крохотному «кавасаки» с движком не мощней фена — меня от него отделяли с помощью ножниц по металлу, кто понимает. И все равно кусок меня остался там — даже два куска, хотя не буду вдаваться в подробности, вдруг среди присутствующих есть дамы. Достаточно сказать, что с того дня я стал патентованным калеккой, хотя плавать все еще могу — при помощи рук, а некоторые вторничные посетители «Дела в теле» и того не могут, так что грех жаловаться.

Да-да, по вторникам все заведение занято нами. Трясущимся отрядом омерзительных, невыразимых ходячих мертвецов. У меня есть кресло на колесиках и медсестра-практикантка, чтоб его толкать; при большей части остальных тоже кто-то есть: у некоторых — родственники (они хуже всего, потому что им не все равно, а это ранит), но по большей части профессионалы, с широкими профессиональными улыбками, натруженными спинами и большим опытом обращения с инвалидными колясками. Они неплохие люди, но я вижу, как они на нас смотрят, — я в отличие от иных вторничных бедняжек вполне *compos mentis*^[66] или, как говорил мой дедушка, «компост ментис», хотя не знаю даже благо это или проклятие. По-моему, у Этого, наверху, чертовски странный принцип распределения благ, и, хоть меня никто не спрашивает, со всем возможным

почтением скажу, что в моем случае лучше бы Он промахнулся.

Ирония судьбы. Я раньше не пропускал ни одной хорошенькой девушки; тогда мое одобрение чего-то да стоило и за него боролись; и хотя в те дни ноги моей не бывало в спортзале, сейчас я бы все отдал, лишь бы оказаться среди разгоряченных, потных тел, сгибающихся, крутящих педали, тягающих железо у стеклянной стены бассейна. Конечно, теперь я вижу только других калек, хоть мне и отведено место на автомобильной стоянке, на случай, если мне захочется его использовать, и особый вход (со двора) для моего (и всеобщего) удобства.

Я кое с кем познакомился. Это неизбежно, если ходишь сюда каждую неделю, сидишь вместе с ними в джакузи, плаваешь в обычном бассейне. Начинаешь узнавать их в лицо, хотя не все они способны представиться; запоминаешь, с кем лучше не плавать (верный признак — тянущийся сзади желтый след); узнаешь, кто из них не прочь поговорить, а кто просто сидит у бассейна и плачет.

Кое-кто без ног, как и я: жертвы аварий, уроды, ампутанты. Ампутанты — везунчики: некоторые из них на протезах и могут ходить и плавают они тоже в основном прилично. У одного человека три ноги — все бескостные, атрофированные, свешиваются с таза, как юбочка из плоти. Я зову его Ктулху, а как он плавает — просто умора: ножки тянутся за ним, извиваясь в струях воды.

Есть еще старики из дома престарелых «Поляна». Где-то какой-то бюрокретин решил, что плавание окажет на них терапевтический эффект; и вот они тут: старухи с кривыми спинами и предательскими буграми, выпирающими из-под старых мешковатых цельных купальников; старики с волосами в носу и слезливыми, подслеповатыми глазками. Большинство из них в маразме; некоторые плачут, когда их погружают в воду; другие пользуются возможностью и пытаются похотливо хватать сиделок за разные места — вот где компост ментис, или что-то грубо кричат хромающим мимо инвалидам. Я их не очень люблю. Они со мной не разговаривают, а с виду похожи на экспонаты галереи Дэмьена Хёрста:^[67] безнадёжные, безрадостные куски серой плоти, словно вымоченные в формалине.

А еще есть Туфельман: он не инвалид, но слишком безобразен для нормальных посетителей, и они столько раз жаловались на его присутствие в бассейне, что руководство зала уговорило его ходить по вторникам, предоставив существенную скидку. Насколько я могу судить, он среди нас самый озлобленный — хотя его увечье чисто косметическое и совершенно не заразно, — а в бассейне он принципиально не замечает других, ныряет с

могучим всплеском и всячески выпендривается при помощи показушных (и по большей части бесполезных) движений ногами, словно подчеркивая, что он не один из нас и его законное место не здесь.

И еще Джесси. Я с ней всегда мягок (пardon за каламбур; нынче, конечно, затвердеть мне вообще не светит), может, потому, что она такая молоденькая. Я думаю, она даун — то, что раньше называлось «кретин», — и, конечно, довольно медленно соображает, но она милая, и хорошенькая, и разговаривает со мной, главное — отвечать простыми фразами и побольше улыбаться.

И наконец, Флиппер.^[68] Как вы понимаете, это не я ее так прозвал. Но ее звали Флиппер с самого рождения, и, похоже, это имя к ней прилипло уже навсегда. Она довольно молодая — лет двадцать пять, может, тридцать, — рыжеволосая, пухлая, бесцветно бледная: если бы у нее все было на месте, ее можно было бы назвать девушкой с картины прерафаэлиты.^[69] Ясное дело, у нее тоже некомплект рук и ног — иначе с чего бы ей ходить сюда по вторникам, — но все равно она не такая, как другие. Или была не такая.

Во-первых, она умела плавать. Офигеть, как она плавала. Многие из нас пытаются; у меня лично получается неплохо — лучше, чем у Туфельмана, как он там ни выпендривайся; но Флиппер словно родилась в воде. Видите ли, у нее не было ни рук, ни ног: только ласты с перепонками, а на ластах ногти и ороговелые желтые подошвы. На суше ей не было от этих ласт никакого проку — она такая тяжелая, что они просто не выдержали бы ее веса, — но в воде это не имело значения. В воде она была в своей стихии; ласты, которые на суше выглядели странными бессуставными отростками, начинали совершать круговые движения, чем-то похожие на взмахи птичьих крыл, и она скатывалась с кресла — все пятнадцать стоунов — входила в воду без брызг и исчезала.

Хотите — считайте, что я вру, но было время, когда Флиппер дала бы милую фору любому здоровому пловцу. Она резала воду, как смазанная маслом пуля; даже дельфину нелегко было бы за ней угнаться. Туфельман ее ненавидел: в воде он казался калеккой рядом с ней, а для него это было важно, понимаете? Ужасно важно, что он может обогнать всех калек, но я мог бы ему наперед сказать, что с Флиппер у него нет ни малейшего шанса, когда она, ухмыляясь, режет бассейн надвое, ласты работают как ленивые плавники, волосы развеваются в воде, как хвост кометы. Никто с ней и близко не мог сравниться; и как радостно было глядеть на нее, даже такому, как я, у кого так мало радостей осталось, потому что если кому из нас и

удалось показать хороший кукиш Этому, наверху, так это ей, Флиппер, когда она, с дельфиньей улыбкой, с перекатывающимися голубоватыми изгибами, неутомимая и прекрасная, летала взад-вперед по бирюзовому бассейну.

Но у Флиппер была тайна. Я догадался первым, потому что смотрел на нее больше всех, восхищался ею так, что не передать словами, — ее вызовом, ее грацией, ее радостью. Сидя в кресле, она ничем не отличалась от других уродов; но в воде была ее игровая площадка, ее дом, и можно было почти поверить, что это другие — помощники, сиделки, гладкие профессионалы с их жалостью и тайным презрением — на самом деле уроды, а Флиппер — нечто иное, новая и удивительная ветвь эволюции, призванная вернуть нас в море, где мы зародились, и откуда, если уж начистоту, незачем было и вылезать.

Но я прочитал тайну у нее в глазах. Не сразу, но потом, когда их соперничество стало сильней и агрессивней. Все началось с игры — там, где была замешана Флиппер, все казалось игрой, — но с таинственными, неназываемыми ставками и опасным напряжением между соперниками.

Конечно, это был Туфельман. От шеи вверх он не так уж плохо выглядел; да и тело его, хоть и бугристое, как мешок гальки, было крепким и сильным. Может, ее это привлекло; а может, его злость, болезненная жажда доказать, что он лучше всех нас, обогнать в заплыве свое уродство и достичь берега нормальности. Я бы ему сразу сказал, что это безнадежно, но такие люди никогда не слушают советов, и чем больше я наблюдал, тем больше уверялся, что между Туфельманом и Флиппер что-то происходит, что-то трепещет, неосязаемый живой блеск, словно ртуть, словно яд.

Он начал с насмешек. Это было жестоко, и, более того, это было против правил. Не думайте, что раз мы уроды, то у нас и законов никаких нет; и, наверное, главный наш закон — не обзывать. Но Туфельман не был одним из нас, и наши законы были ему не писаны. И вот начались обзывания — не только «Флиппер», к чему она привыкла, но и другие, более жестокие прозвища. Она обостренно относилась к своему весу, он это почувствовал и стал звать ее Пузырем, Китом, Тушей, Бурдюком и другими бессмысленными, злыми словами.

Он дразнил ее за волосы — длинные, рыжие, прекрасные, и за ловкие мозолистые ноги-ласты. Он твердил, что от нее воняет — врал, — и демонстративно зажимал нос, если она была поблизости, говоря четким металлическим жизнерадостным голосом: «О, пахнет рыбой, фу, как несет китовым жиром», и ее дельфинья улыбка увядала, серо-голубые глаза туманились, и она плавала уже не для радости, но в попытках уплыть от

боли, причиненной его словами.

Он даже издевался над ее руками и ногами.

— Только поглядите, — говорил он металлическим голосом. — Гляньте на этот бурдюк китового жира. Вы мне скажите, что это такое? Баба? Рыба? Кто-нибудь знает?

Раза два я пытался с ним поговорить.

— Слушай, оставь ее в покое, — сказал я после его очередной тирады. — Ради бога, ну чего ты к ней привязался?

Он посмотрел на меня и ухмыльнулся.

— Иди в жопу, — ответил он. — Ты что, ее брат?

И был таков — уплыл, шумно и быстро, брызгаясь, потому что ему казалось, что плавать надо именно так, и потому, что так он мог выставить напоказ свои ноги, тонкие, но не уродливые, и поплескаться водой в лицо остальным уродам, вынужденным делить с ним свое вторичное уродское омовение.

Поэтому я решил поговорить с Флиппер — однажды, когда мы все сидели в джакузи, кроме Туфельмана, который наматывал круги по бассейну, сильно и зло, как будто, намотав достаточно, он в один прекрасный день мог совсем выскользнуть из кожи и вернуться в ряды рода человеческого.

— Девочка, не позволяй ему себя доставать, — сказал я. — Он мерзкий человечешко, и его никто не любит.

Это была правда: Туфельман успел обидеть каждого из нас, даже Джесси, милую и беззлобную, словно котенок без когтей, — ее даже самые зловредные старики никогда не обижали.

— Он не виноват, — тихо сказала она, все еще глядя в сторону бассейна. — Ему больно. Посмотри, как он плавает. Он ранен, он нуждается в помощи, и еще больше жалко, что он сам этого не понимает.

— Мы все тут раненые, — резко ответил я, — но ведь не грызем друг друга. Разве ты его обижала когда-нибудь? Он не имеет права тебя обзывать.

Но Флиппер только улыбнулась печальной дельфиньей улыбкой, не сводя глаз с пловца, который мерил бассейн взад-вперед в одиночку, гоня волну, выныривая и хватая ртом воздух. И тут я понял, что Этот, наверху, все-таки взял свое, потому что Флиппер была по уши влюблена в Туфельмана, наглядеться на него не могла, и, когда я это понял, меня словно ударили под дых. Почему всегда так? Я спрашивал себя об этом, а вода бурлила и кипела вокруг моих бесполезных ног. Флиппер, которая могла бы служить связующим звеном между нами и новым видом существ,

лучше и добрее нас, — и Туфельман. Туфельман! Господи боже мой!

— Не может быть, — сказал я, даже не ей, а себе самому. — Только не это.

Потому что если Туфельман хоть когда-нибудь узнает, он ее не просто унизит, он ее начисто раздавит; у него в сердце нет жалости ни к кому, кроме себя самого, ни жалости, ни любви. Не знаю, на какой ответ она надеялась, но я видел эту надежду у нее на лице — нагую, неприкрытую; и оттого, что она была такая хорошая, и еще оттого, что, может быть, я ее любил — ну, немножко, — я надеялся и молился, чтобы это безумие прошло, чтобы Туфельман нашел себе другой спортзал (а может, даже вылечился — вот до чего я дошел), а самое главное, чтобы в его присутствии у нее не было такого взгляда. Потому что никто не хранит тайну хуже, чем влюбленная женщина, а это была такая тайна, которая никогда, ни за что не должна увидеть света.

Примерно в это время я перестал посещать «Дело в теле». После аварии у меня осталось несколько сувениров — в том числе частичный коллапс легкого и восприимчивость к разного рода инфекциям. Может, я однажды слишком долго просидел в бассейне; может, это был какой-нибудь новый штамм гриппа; в общем, у меня началась пневмония, я полтора месяца провалялся в больнице и еще три недели не мог ходить в «Дело в теле».

Мне не хватало этих посещений; а поскольку разглядывать пятна сырости на больничном потолке не так уж интересно, я немало времени проводил в размышлениях о Флиппер и Туфельмане, о том, что с ними происходит, кто побеждает в их гротескной игре. Не все время — в основном я был занят тем, что кашлял на чем свет стоит, — но немалую его часть; и когда мои легкие пошли на поправку, мрачные раздумья насчет Флиппер меня не покидали — я все вспоминал ее взгляд и как Туфельман за ней следил, с расчетливой холодностью, словно акула, которая высматривает мягкое подбрюшье дельфина, чтобы догнать и убить. У меня было, если хотите, предчувствие, ощущение, что у моего друга Флиппер не все ладно, и со временем это предчувствие перешло в уверенность.

Моя медсестричка — практикантка по имени Софи — неплохой человек, бывают медсестры и похуже. Как-то я ей рассказал, что у меня на душе, и она согласилась заглянуть в «Дело в теле» и рассказать мне, что там творится, чтобы меня успокоить. Она принесла неутешительные новости. Флиппер пропала. Ктулху, человек с тремя ножками, сказал, что ее уже много недель никто не видел, и Туфельман резвился в бассейне, как свинья в луже, плавая, плескаясь на чем свет стоит, оседывая волны,

словно уродливый морской царь в окружении калек-придворных.

Хуже всего, сказал Ктулху моей медсестричке, что перед исчезновением Флиппер начала сблизаться с Туфельманом. Ничего хорошего в этом сближении не было — он все так же обзывал и дразнил ее, но теперь они начали уединяться вдвоем где-нибудь у бортика бассейна, или в джакузи (куда Туфельман раньше вообще не заходил), или в сауне. «Только представить, как эти двое милуются», — сказал Ктулху, неловко улыбнувшись; хотя, как он понял, они не столько миловались, сколько беседовали, возможно, спорили — тихо, страстно.

— Похоже, ваши друзья нашли общий язык, — ободряюще сказала Софи, когда купала меня на ночь.

Но меня это не ободрило: Софи не видела ни акульего взгляда Туфельмана, ни тоски в глазах Флиппер. Кроме того, Софи молодая и хорошенькая, и руки-ноги у нее на месте; ей просто не понять сил, которые нами движут, изгибают, скручивают и выворачивают наизнанку.

Здоровые люди, движимые лучшими намерениями, видят в нас некую святость: они полагают, что мы каким-то образом, через терпение и понимание, преодолели свою немощь; хвалят каждую нашу попытку быть нормальными; превозносят даже самые посредственные достижения. Им никогда не придет в голову, что калека может быть таким же глупым, жестоким или лживым, как человек, у которого на месте все руки, ноги и сердце.

Именно так было с Туфельманом. Я узнал обо всем несколько недель спустя; ну или не обо всем, а о том, что удалось выведать. Нет хуже слепца, чем влюбленный калека, и нет никого уязвимей, и Туфельман, должно быть, разгадал ее тайну так же, как разгадал ее я, и обратил себе на пользу.

Она никогда не рассказывает об этом — точнее, она теперь вообще не разговаривает, хотя я сколько раз видел, как она, сидя в своей специально переделанной инвалидной коляске, бросает тоскливые взгляды на бирюзовую воду. Ее санитар сказал мне, что протезы рук и ног все еще причиняют ей чудовищную боль и, скорее всего, так будет и дальше, потому что кости, в которые ввинчены стальные имплантанты, страшно мягкие, ближе к рыбьему хрящу, чем к нормальным человеческим костям. Ласт, этих странно изящных выростов с перепончатыми пальцами и мозолистыми подошвами, больше нет, и, несмотря на все операции, доктора утверждают, что ее способность передвигаться будет очень сильно ограничена. Ее вес — лишь одна из проблем; другая — своеобразное строение тела, ненатуральный изгиб позвоночника, необычные сочленения редуцированных конечностей (большую часть которых пришлось удалить

для установки протезов). Но все же, я полагаю, она получила что хотела: руки и ноги, ярко-розовые, словно у куклы, и ходунок, на который она опирается всем телом, передвигаясь медленно, крохотными, причиняющими ей чудовищную боль шажками, словно китаянка с забинтованными ножками; она может доковылять до бортика бассейна и стоять там часами, глядя, как остальные хлюпают, трепыхаются и иными увечными способами перемещаются в воде, и как Туфельман, гладкий, равнодушный, похожий на акулу, плавает взад-вперед вдоль бассейна, не удостоивая взглядом ни ее, ни кого-либо еще.

Сама она, конечно, плавать больше не может, хотя иногда пользуется джакузи. Чтобы опустить ее в теплую воду, нужны усилия трех санитаров, и им приходится все время быть начеку, потому что после операции она безвозвратно утратила чувство равновесия и теперь может утонуть, если оставить ее одну.

Зачем она это сделала? Никто не знает. Туфельман никогда об этом не говорит, хотя пару раз я замечал, что он на нее смотрит. И я знаю, что сама она никогда не расскажет. Кто знает, о чем она думает, сидя в специальной инвалидной коляске, колыбели из пластика и металла? Кто знает, что он пообещал ей в обмен на душу?

Я могу только гадать. Но мне все время вспоминается одна сказка; ее рассказывал мне дедушка, когда мы все еще были молоды, свободны и в полном компост ментисе: про юную русалочку, которая так сильно полюбила земного принца, что готова была отдать все, лишь бы быть с ним. И потому — ну и еще потому, что у Этого, наверху, своеобразное чувство юмора, — она заключила договор: отдала свой русалочий голос и прекрасный стремительный хвост за пару ножек, на которые ей было так больно ступать, что каждый шаг оборачивался пыткой, а она, лишенная голоса, не могла даже закричать от боли; она покинула свою добрую, безопасную стихию — море и отправилась на поиски любимого.

Но любовь не купишь жертвами. Принц нашел любимую своей породы — земную принцессу со свеженькой мордочкой, а русалочка умерла в одиночестве, изувеченная и немая; она не могла вернуться к своим, не могла даже оплакать свою потерю.

Что он ей обещал? Какими словами? Как я уже сказал, я могу только гадать. Но точно могу сказать, что вторники нынче уже не те. Исчезла радость, исчезло волшебство, осталась обычная толпа уродов, даунят и калек; и хотя вода все еще бирюзовая, и солнце в ясные дни все так же сияет сквозь стекло, будто благословение, мы не замечаем этого, как замечали раньше, в те дни, когда Флиппер еще плавала. Потому что в

бассейне Флиппер была не просто «не хуже нормальных людей»: она была лучше их, несравнимо лучше. И она была одной из нас.

Но порой, когда ночи становятся длинней и холодней и мои легкие, кажется, уже не могут качать воздух так, как раньше, я думаю о ней — и сомневаюсь, была ли она на самом деле. И хотя я не большой любитель Вечных Истин и всякой такой ерунды, мне кажется, что Этот, наверху, специально насовал дефектов в чертежи, по которым нас делают: что-то вроде предохранителя, который перегорает, стоит нам начать заноситься не по чину — слишком сильно надеяться или чересчур радоваться. Засунул этот предохранитель поглубже, чтобы его никак нельзя было выковырять, и стал ждать, как обернутся дела, слегка улыбаясь, словно тайно злорадствующая акула.

Каждый вторник в спортивном зале «Дело в теле» — день уродов. Но теперь мы почти не плаваем. Вместо этого мы молча сидим и смотрим на Туфельмана. Он плавает взад-вперед, раз за разом, яростно работая руками и ногами и гоня волну. За последние несколько недель ему стало намного лучше — руководство спортзала даже поставило его в известность, что он может не ограничивать свое посещение вторниками, но он все еще приходит, словно хочет этим что-то доказать себе или нам. Он всегда молчит. Но иногда в аквариумной тишине длинного бассейна за плеском и хлюпаньем одинокого пловца мне чудятся звуки, похожие на рыдание, а иногда я вижу дорожки сбегających капель под тонированными стеклами плавательных очков — может, это просто конденсат, а может, и нет. Хотя какая разница; в нем что-то сломалось, у него внутри какая-то неисцелимая рана, как тогда сказала Флиппер. По вторникам он плавает в пустом бассейне — лицо красное, ноги ходят как поршни, в легких жжет. Но теперь ему никогда за ней не угнаться. И каждый вторник в два часа мы смотрим, как он выходит из воды, — выстроившись в колясках, словно расстрельная команда, и те, кто еще в компост ментисе, скандируют, уставившись на него, одно и то же слово, раз за разом, тихо, без всякого выражения, а другие просто смотрят; и Туфельман едва заметно опускает голову и идет мимо нас, не глядя по сторонам, и длинные, тонкие ноги несут его прочь от бассейна, к душевым.

Никто не знает, зачем он приходит; никто не знает, о чем он думает, уходя в реальный мир. Кроме, может быть, Флиппер, но она не скажет, хотя она смотрит ему вслед сквозь завесу волос (роскошных рыжих волос, которые в другой жизни могли принадлежать русалке), и только когда мы все уже уходим, встает и ковыляет прочь, крохотными, мучительными шажками, на новых розовых ногах.

РЫБА

У неаполитанцев есть пословица: «Пробудешь в Неаполе ночь — возненавидишь его; пробудешь неделю — полюбишь его; пробудешь дольше — останешься навсегда». Этот рассказ — предостережение.

Еще недели не прошло, как Мелисса с Джеком поженились, а уже начались проблемы. Свадьба была точно как хотела невеста: пятьсот гостей, белые розы и гипсофилы, два карата в желтом золоте, торт, украшенный с большим архитектурным мастерством, чем иные офисные здания, и двадцать четыре ящика (бюджетного) шампанского; все оплачено родителями невесты и запечатлено для вечности самым дорогим фотографом Южного Кенсингтона.^[70]

Тем не менее на третий день медового месяца Джек начал замечать в молодой жене все большую раздражительность.

Конечно, это не его вина, что гостиница слишком маленькая, а на улицах таклюдно и что у Мелиссы украли сумочку во время первого же выхода в город. Тем более он не виноват в том, что в большинстве неаполитанских ресторанов не могут или не хотят готовить в соответствии с потребностями Мелиссы — вегетарианки, не переносящей лактозу и, главное, пшеницу, — или хотя бы понять, чего она требует; в результате, хотя эти три дня она почти ничего не ела, живот у нее болезненно раздулся, и местные женщины (дружелюбные, и даже, пожалуй, слишком) взяли привычку дружески гладить ее по округлости и спрашивать на ломаном английском, когда должен родиться *bambino*.^[71]

Однако это Джек выбрал Неаполь для свадебного путешествия, будучи сам на четверть неаполитанцем (по матери); в студенческие годы он пробыл в Неаполе три недели, и потому, как заявила Мелисса, у него была куча времени, чтобы ознакомиться с этой проклятой дырой.

Мелиссе было двадцать шесть лет, и она была хороша гомогенизированной прелестью, происходящей от молодости, хорошего портного, дорогой косметической стоматологии и большого количества свободного времени. Она сама не горела желанием делать карьеру, но ее родня была знакома со всеми, ее отец владел сетью супермаркетов, мать была дочерью лорда Такого-то; и Джеку, еще молодому, но удачливому финансовому консультанту в Сити, получившему в подарок от судьбы серебристый «лексус», темноволосую «латинскую» внешность (в бабушку)

и зарождающийся начальственный животик, этот брак казался идеальным в смысле пользы и удовольствия.

Однако в Неаполе ситуация начала принимать иной оборот. Мелиссе все было ненавистно: улицы, запахи, уличные мальчишки на мопедах, рынки, рыбацкие лодки, воры, лавки. А вот Джек был счастлив как никогда. Все приводило его в восторг: узкие улицы, белье, развешанное на веревках меж кривых балкончиков, люди, уличные торговцы, кафе, вина, еда. Особенно еда: он никогда толком не знал свою итальянскую родню, кроме бабушки, которая умерла, когда он был еще совсем маленьким, и единственное, что он помнил — она была свирепая, кругленькая, низенькая женщина с волосами, стянутыми черным платком, и почти всю жизнь проводила на кухне, готовя баклажаны гриль, равиоли со свежими грибами, тальятелле с трюфелями и маленькие пиццы с анчоусами, которые пахли морем, а на вкус были как концентрированный солнечный свет.

Но все равно он приехал в Неаполь с чувством облегчения, которое не уменьшалось даже от постоянного нытья Мелиссы, с чувством, что после многих лет изгнания он наконец возвращается домой.

Ему было неприятно, что город Мелиссе не понравился; еще более неприятно, что она не упускала ни единой возможности об этом напомнить.

— Все дело в том, — сказал он, когда они мрачно переодевались к ужину, — что ты с самого начала не хотела сюда ехать.

— Не хотела, что правда то правда, — ответила новобрачная. — Эта чертова скряга Диззи Флор-Харрингтон получила на медовый месяц целый остров в Тихом океане; Индия Скотт-Паркер и все свадебные гости поехали в монастырь в Гималаях; а Хамфри Пулитт-Джонс повез свою девушку на Южный полюс. А я что должна рассказывать знакомым, когда мы вернемся из свадебного путешествия? Что я поехала в Неаполь, чтобы у меня там украли сумку?

Джек не позволил себе наорать на нее. Вместо этого он увещевающе произнес:

— Ну, милая. Ведь у тебя и денег-то с собой не было.

Мелисса пронзила его взглядом.

— Это была вечерняя сумочка от Лулу Гиннесс, — резко ответила она. — Коллекционная!

— Понятно.

Спорить на самом деле не было никакого смысла. Даже если учесть, что за сумку платила не Мелисса — она в этом отношении похожа на королеву, горько подумал Джек, правда, у ее величества есть свои деньги, хоть она их с собой и не носит. Он умиротворяюще развел руками.

— Мы тебе другую купим, — сказал он, стараясь не думать о том, во сколько ему все это обойдется — извинения, подарки, походы по магазинам. — Только прошу тебя, милая, не надо кричать. В этих старых домах ужасно тонкие сте...

— И нечего мне вкручивать про всякое там очарование старины! — завопила Мелисса, игнорируя его слова. — Нищие и карманники на каждом углу, поперек улиц висит белье, ни одного нормального магазина на весь город, а если я увижу еще хоть одну пиццерию, черт бы их драл...

В этот момент кто-то замолотил в стену спальни, судя по звуку, тупым предметом — возможно, каблуком ботинка.

— Дорогая, это нечестно, — ответил Джек. — Откуда мне было знать, что ты буквально в одночасье вдруг заделалась вегетарианкой и перестала есть пшеницу. Если уж тебе обязательно нужна модная диета...

— Мой диетолог сказал, что у меня непереносимость!

— Ну что ж, значит, она у тебя развилась практически мгновенно. Еще три недели назад ты все это преспокойно ела.

Мелисса пронзила его взглядом.

— На случай, если ты не заметил, меня от пшеницы раздувает. А мяс *цивилизованные* люди не едят. Это практически убийство.

Джек, который любил бифштексы (и, по правде сказать, с самого прибытия в Неаполь с нетерпением ждал случая поесть мяса), почувствовал, что багровеет.

— Я что-то не видел, чтобы ты отказалась от куриного салата на свадьбе, — заметил он.

— Курица — не мясо, — высокомерно сказала Мелисса. — Это птица.

— Ай-яй-яй, какой же я дурак. Кто же не знает, что куры растут на грядке.

— Прекрати! Если ты жрешь как дикарь, это еще не значит...

— А как насчет рыбы? Рыбу-то ты ешь? Потому что, на случай, если ты не заметила, — мы в Неаполе и тут куча рыбных ресторанов...

— Я могу есть рыбу, — сказала Мелисса. — Я ее просто не очень люблю, вот и все.

— Ага, так рыба, значит, тоже овощ? Очень удобно. Ты знаешь, она еще и любовный пыл усиливает. По-моему, тебе совсем не повредит.

Мелисса все еще сверлила его взглядом, но теперь ее глаза наполнились слезами.

— Знаешь, Джек, иногда я думаю, что тебе следовало родиться рыбой, — сказала она, отворачиваясь. — Тебе бы очень подошло. Ты такой же холодный, склизкий и безмозглый.

Это была их первая супружеская ссора. Джек был зол на себя за то, что допустил ее, — на заседаниях совета директоров он редко терял самообладание, и участие в таком конфликте было для него нехарактерно. Нехарактерно и недостойно, думал он; в конце концов, женитьба — лишь первая ступень в его долговременных планах, для выполнения которых существенно, чтобы Мелисса и ее родня были им довольны. Сам посудил, уговаривал он себя, ты с таким трудом всунул ногу в дверь, так разве можно теперь этой дверью демонстративно хлопнуть? Да еще из-за ерунды какой-то. Боже мой, да пускай Мелисса ест что хочет. Джек сам очень любил поесть — эту слабость он изо всех сил прятал от коллег по работе, которые, кажется, питались одним кофе да сигаретами с фильтром. Но здесь притворяться было почему-то трудней. Может, из-за его итальянской крови. А может, виноват был воздух Неаполя, пропахший бензином, пеплом, морем, оливковым маслом и жареным чесноком (так похожим на запах секса, подумал Джек, еще один чуждый Мелиссе аппетит). Но все же, подумал он, вымещать это на ней нет никакого смысла. И в любом случае, чем быстрее они помирятся, тем быстрее начнут ужинать.

Однако, несмотря на все его добрые намерения, на восстановление романтического настроения ушел почти час. Портовый ресторанчик «У Розы» был, конечно, не «Плющ»,^[72] но Мелисса, просмотрев меню, нехотя согласилась с тем, что кое-что из предложенного может быть съедобно. Отмахнувшись от тостов с анчоусами, *caponata*,^[73] ризотто с морепродуктами, *calamari fritti*,^[74] панцетты^[75] и пиццы с лесными грибами, она заказала маленький кусочек морского окуня гриль (без соуса, без масла) и зеленый салат (заправку подать отдельно).

Джек, однако, проголодался. Может, из-за стресса, может, из-за морского воздуха. Как бы то ни было, он уплел дюжину устриц, большую тарелку тальолини с омарами и пару султанок с *salsa verde*.^[76] Было восемь вечера, ресторан почти пустой — вечерний наплыв посетителей начнется в девять-десять, — и пухленькая жизнерадостная женщина, подавшая еду, заботливо, хотя и несколько навязчиво, стояла рядом, готовая принести еще хлеба, еще вина, если нужно. Ее круглое лицо одобрительно сияло, когда она забирала у Джека пустые тарелки.

— Был хорошо, да?

— Очень хорошо, — Он улыбнулся и ослабил ремень на пару дырочек, — *Buonissimo*.^[77]

— Я ловить рыбу сегодня утром. Вся рыба — сегодня утром ловить.

Краем глаза Джек заметил, что Мелисса нахмурилась. Он увидел, что

она едва притронулась к еде: только передвинула листья салата с одного края тарелки на другой. Пухленькая женщина тоже это увидела, и ее лицо, такое оживленное во время разговора с Джеком, как-то отупело и потеряло всякое выражение.

— Моя рыба была сильно пересушена, — сказала Мелисса, складывая вместе нож и вилку.

Отупевшее лицо слегка дрогнуло. Темноволосая голова закивала, словно рыбацкий поплавок на волне. Пухленькая женщина — видно, это сама Роза, подумал Джек, — неловко, кучей унесла тарелки, склонив голову и сгорбившись.

— Зря ты это сказала, — заметил Джек. — Ты ведь сама попросила приготовить без масла.

Его собственная рыба была роскошна, утопала в масле и каперсах, и он подобрал остатки соуса последним куском хлеба с оливками.

Мелисса глянула на него.

— Если ты наедаешься до отвала, это не значит, что и я должна делать то же самое. Ты посмотри на себя. Ты не меньше половины стоуна прибавил с тех пор, как мы сюда приехали.

Джек пожал плечами и подлил себе вина. Мелисса и к вину почти не притронулась. За спиной у нее из кухни появилась Роза, неся две тарелки и закрытое крышкой блюдо.

— Фирменное, — сказала она с натянутой улыбкой и поставила все на стол.

— Но мы больше ничего не заказывали, — сказала Мелисса.

— Фирменное, — повторила пухленькая женщина и сняла крышку с глиняного блюда.

Распространился восхитительный пряный аромат. Джек видел, что на блюде лежат куски рыбы, а меж ними — целые тигровые креветки, мидии, морские гребешки и жирные бурые сицилийские анчоусы. Пахло белым вином, лавровым листом, оливковым маслом, петрушкой, и чесноком, и чили; и в поднимающемся пару он видел лицо Розы, простое, приятное, чуть покрасневшее от надежды и предвкушения, с неуверенной улыбкой на губах.

— Но мы не заказывали... — опять начала Мелисса.

Джек ее перебил.

— Замечательно, — громко сказал он. — Я обязательно попробую.

Мелисса смотрела, как Роза наваливает еду Джеку на тарелку.

— Еще хлеба, да? — спросила Роза. — У нас есть с оливки, с грецкий орех, с анчоус...

— Обязательно, — отозвался Джек.

Роза опять исчезла в кухне, а Мелисса воззрилась на своего благоверного.

— Ты что, с ума сошел?

— Ты выразила недовольство, — ответил Джек.

— Ну и что?

— А то, что она неаполитанка. Она теперь обязана загладить свою вину перед гостями.

— Дурацкий обычай, — отозвалась Мелисса. — Я не собираюсь это есть.

— Тогда я съем все, — ответил Джек. — Я не могу и не хочу отвергать ее гостеприимство.

Он знал от бабушки, что нет большего оскорбления, чем отказ от еды; Розу и так уже задела жалоба Мелиссы, отвергнуть ее извинения было бы непростительно.

— Нечего там, — презрительно сказала Мелисса. — Тебе просто нужен очередной предлог обожраться. Вот увидишь, нам в конце концов придется за это платить; неужели ты думаешь, что она все это бесплатно принесла?

Джек положил в рот кусочек рыбы, шелковой от вина, масла и пряностей.

— Восхитительно, — нарочно сказал он, и Роза, которая как раз в этот момент явилась с хлебом, покраснела от удовольствия.

Она и правда толстая, подумал он, но теперь до него дошло, что она довольно привлекательная женщина: идеальная кожа цвета кофе с молоком; блестящие черные волосы стянуты свободным узлом на затылке, и небольшие отсыревшие прядки обрамляют лицо. Грудь под чистейшим белым фартуком — как пуховые подушки, и, когда она склонилась, чтобы положить ему еще тушеной рыбы, он учуял запах ванили, озона и пекущегося хлеба от ее гладких загорелых рук.

— Ты только посмотри на себя, — тихо сказала Мелисса, когда он стал зачерпывать оставшийся соус пустой раковиной от мидии и выливать в рот. — Можно подумать, ты неделю не ел.

Джек пожал плечами и отломил голову креветке. Сочное розовое мясо пропиталось вином и пряным маслом.

— Омерзительно, — сказала Мелисса, когда он высосал соки из креветочьей головы, оставив скорлупу на краю тарелки. — Ты омерзителен, и я хочу обратно в гостиницу.

— Я еще не закончил. Хочешь идти — иди.

Мелисса не ответила. Джек прекрасно знал, что она без него не уйдет: дневной Неаполь был ей неприятен, а ночной — наводил ужас. Она сжала губы — это ей страшно не идет, подумал Джек, приступая к куску морского черта, она становится как две капли воды похожа на свою мать, — и пару минут сидела с мученическим лицом, подчеркнуто не глядя на Джека, что его вполне устраивало.

Роза в это время стояла в углу зала, раскладывая какие-то фрукты на большом керамическом блюде. От кухонного жара ее щеки покраснелись, и это выглядело роскошно и экзотично, словно румянец на боках спелого нектарина. Она повернулась к Джеку и улыбнулась ему (но не раньше, чем он успел хорошенько разглядеть крутой изгиб ее ягодиц под облегающим платьем официантки), и он поразился, поняв, что она молода. Сначала он решил, что она — женщина средних лет; но теперь он ясно видел, что она ровесница Мелиссы, а может, и моложе. По правде сказать, теперь, задумавшись об этом, он понял, что у самой Мелиссы вид какой-то замученный: кожа сухая, слегка обгоревшая на солнце, и между выщипанными бровями неприятная двойная морщинка. Это старило Мелиссу: с виду она была не нежной, а суховатой, как пережаренная курица. Он знал, что несколько недель перед свадьбой она сидела на диете; платье было восьмого размера, хотя она обычно носит десятый, и вырез декольте открывал просторы неровной плоти, среди которых отчетливо виднелись кости грудины.

Потом он обнаружил, что она носит в лифчике гелевые прокладки, чтобы меж грудями получалась ложбинка — эти прокладки называют «куриное филе», мрачно думал он, вспоминая момент открытия. Открытие было довольно неприятным: Джеку нравились женщины с большой грудью. Но он все обернул в шутку, хотя Мелиссе эта шутка почему-то не понравилась. Джек мимоходом задумался, чем считаются «куриные филе» — мясом или рыбой, и, наливая себе очередной стакан вина, с удивлением обнаружил, что прикончил бутылку.

Тушеную рыбу он тоже прикончил и большую часть хлеба; когда Роза пришла забирать тарелки, лицо ее светилось радостью.

— Спасибо, — холодно произнесла Мелисса.

— Нравится?

— Очень, — ответил Джек.

— Может быть, десерт, да? И *caffé*?

— Счет, пожалуйста, — отчетливо произнесла Мелисса.

Розу это слегка задело.

— Нет десерт? У нас есть *tiramisù*, и *torta della nonna*, и...

— Нет, спасибо. Счет, пожалуйста.

Как это похоже на нее, подумал Джек, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Думает только о себе, не понимает потребностей близких людей. Причем платить ведь не она будет: вопрос совместного банковского счета как-то всплыл в разговоре, но вызвал такую боль, такое негодование, что Джек благоразумно отступил, решив перенести обсуждение этого вопроса на какой-нибудь менее болезненный момент.

— Мне принесите десерт, пожалуйста, — громко сказал он. — И граппу, и эспрессо.

Лицо Мелиссы сошлось в осуждающую белую костяшку. За спиной у нее щеки Розы пылали, как маки.

— Меню? — спросила она.

Он покачал головой:

— Сделайте мне сюрприз.

За кофе, которого Мелисса пить не стала, она сверлила его яростными, остекленевшими глазами.

— Ты это нарочно, — прошипела она.

— Почему ты так думаешь? — спросил Джек, прихлебывая граппу.

— Черт возьми, ты прекрасно знаешь, что я хотела уйти!

Он пожал плечами:

— А я хочу есть.

— Ты свинья!

Голос ее дрожал. Она вот-вот расплечется. «Зачем я это делаю?» — подумал Джек, внезапно смутившись. Он ведь столько труда положил, чтобы завоевать Мелиссу; зачем же он теперь так ведет себя по отношению к ней, да и к самому себе? Когда он понял, это было словно ледяная сердцевина в мягком, тающем *crème brûlée*, и он поставил стакан, неопределенно гадая, чем это его одурманили. Мелисса наблюдала за ним ненавидящим взглядом голубых глаз, рот ее сжался в почти невидимую узкую щель.

— Хорошо, сейчас пойдем.

Удивительно, какая же она страшная на самом деле, подумал он. Взбитые, посеченные, химически обработанные волосы. На зубах виниры. Жилы на шее натянуты, словно веревочная лестница, ведущая к «куриному филе», спрятанному в дорогом лифчике от «Ла Перла». Из кухни вышла Роза, мягкая, светлая, сияющая, с подносом в руках. Шоколадно-янтарные глаза блестели, и Джек обнаружил, что произносит почти бессознательно:

— После десерта.

Мелисса застыла. Но Джек едва замечал ее — он смотрел на Розу с

подносом. Он понял, что она принесла не один десерт, а много: по крохотной порции всего, что имелось в ее обширном меню. Тут было *tiramisù*, осыпанное шоколадной пылью, роскошное, влажное, тающее во рту; лимонная полента; шоколадный ризотто; тонкие, как кружево, миндальные черепицы; кокосовые макаруны; корзиночки с грушами; абрикосовое мороженое; *brûlée* с ванилью, пряностями, миндальными хлопьями и медом.

— Ты надо мной издеваешься, — яростно прошептала Мелисса.

Но Джек ее уже не слышал, узрев новые чудеса: он пробовал то одно, то другое в нарастающем самозабвенном опьянении. Роза смотрела на него с почти материнской улыбкой, сложив руки на груди, как ангел — крылья. Удивительно, что поначалу он счел ее некрасивой; теперь он понимал, что она потрясающе прекрасна: зрелая, как летняя клубника, чувственная, как ванна из сливок. Он увидел женщину с кислым лицом, сидящую напротив, и попытался вспомнить, что она тут делает: кажется, что-то связанное с деньгами, смутно припомнил он, что-то насчет бизнеса и перспектив. Но это явно было что-то не очень важное, и он скоро забыл о ней, погружившись в вакханалию кондитерских вкусов и текстур, сотворенную этой экзотичной темноволосой роскошной неаполитанкой.

Роза, по-видимому, разделяла его восторг. Губы ее приоткрылись, глаза сверкали, щеки слегка порозовели. Она кивала ему, сначала в знак одобрения, потом — с плохо скрываемым возбуждением. Он заметил, что она дрожит; ее руки сжимались и разжимались на фоне белого фартука. Он набрал полный рот орехового крема, на миг прикрыл глаза и тут же преисполнился уверенности, что и она закрыла глаза в приступе блаженства; снова потянувшись за ложкой, он услышал вздох наслаждения.

Да! Да!

Шепот был почти неслышен, но он все равно его услышал — облегченный вздох, едва слышный блаженный стон. Он опять взялся за ложку, она опять испустила вздох, пальцы растопырились в насыщенном мускусом воздухе. Он обожрался и все равно хотел еще, хотя бы только для того, чтобы увидеть ее лицо, когда он ест и ест. Он смутно помнил, как говорил кому-то (кому?), что рыба усиливает любовный пыл; секунду ему казалось, что он вот-вот припомнит, кому именно, но потом эта мысль тихо ускользнула.

Он все еще ел, когда женщина с кислым лицом встала, сжав губы подобно колючей проволоке, и вышла из-за стола. Он не поднял взгляда — хотя она, уходя, довольно грубо хлопнула дверью, — пока Роза не принесла кофе, миндальные печенюшки и пирожные с засахаренными фруктами; а

потом она села рядом, накрыв его руки своими, расстегнула его ремень, чтобы дать простор туго набитому желудку, и, нежно покусывая мочку уха, прошептала голосом, подобным мускусу, крови и темному меду:

— А теперь моя очередь, *carissimo*.^[78]

ВОР У ВОРА

Когда я работала над своей первой книгой «Злое семя», меня внезапно осенило: все книги о вампирах на самом деле чрезвычайно элитарны. Действие всегда происходит в романтической обстановке; сами кровопийцы всегда привлекательны, аристократичны, стильны. Тогда напрашивается вопрос: а где все остальные вампиры? Простые вампиры, вампиры-рабочие, вампиры с неудачным имиджем? А потом, в один прекрасный день, я поехала в Блэкпул со школьной экскурсией...

Я вам вот что расскажу, бесплатно. Вампирство давно умерло и похоронено. Не только в Уитби,^[79] хотя гниль пошла оттуда, и не потому, что люди потеряли к нему интерес, — наоборот. Как мне объяснили, это оттого, что спрос превысил предложение. Мы пали жертвой рыночной динамики, уступили необходимости приспособливаться, модернизироваться, обрести новый имидж в глазах потребителя.

Вот, к примеру, я, Регги Ноукс. Стаж работы — семьдесят пять лет, а теперь мне дали пинка под зад. Сказали, ничего личного, старина. Просто ты больше не в струе. Нынче спрос на вампиров другого типа.

Вот хотя бы лицо. Круглое, красное, как у торговца рыбой из Гримсби (кем я и был когда-то). И коротенькие ножки. А отвисший животик — это вообще катастрофа. В стародавние времена все это не имело никакого значения. Наоборот, любой был бы рад такой маскировке. Но нынче надо соответствовать имиджу. Викторианские улицы. Туман. Нынешнее поколение фрэеров разгуливает в кожаных одеждах и черной губной помаде, слоняется по кладбищам в надежде хоть мельком увидеть кого-нибудь из нас, и уже не отличишь живого от живого мертвеца. Это ненормально. И все равно, не могут же все скакать в черных плащах и с клыками, разглагольствуя об адском исступлении и безымянных ужасах. Это было бы чертовски нелепо.

Я не собираюсь извиняться за то, что кошу под местного. Здесь это очень просто. Куча приезжих. Никто не задает вопросов. Но все же, даже когда я вышел на пенсию и поселился тут, я иногда задумывался, не слишком ли Уитби фешенебелен для меня. Надо было сразу ехать в Блэкпул. Шумный, оживленный Блэкпул с его торговыми пассажами и рыбными лавками (я до сих пор люблю временами поесть трески в сухарях), пляжи до отказа набиты отдыхающими, горячие потные тела

источают радость, ярость, зависть и голод вроде моего. Знаете, для меня ведь никогда все не упиралось в кровь. По правде сказать, я ее не так уж и люблю, да и добираться до нее сложновато, особенно лысеющему толстяку, на которого ни одна девственница не взглянет дважды. Но стоит мне оказаться в толпе — и я счастлив. Здесь коснуться, там попробовать. По капельке. Не до смерти. Нежно, словно снимая сливки или сдувая пену с пинты пива. С девчонки, что визжит на карусели. С ее дружка, который лапает ее, думая о чем-то другом. С двух парней, подравшихся у пивной. Здесь всюду жизнь, она кишит, и именно поэтому я сейчас гуляю по пристани, потягивая пенный лагер, и жду, когда мимо пройдет какая-нибудь славная теплая семья, чтобы отсосать из нее жизнь, энергию.

Вот как раз такая идет: четыре человека. Двое здоровеньких круглолицых детишек, один ест сэндвич с жареной картошкой, другой — мороженое. Родители: у нее облезлые от солнца плечи с розовыми пятнами, он в сетчатой майке и бейсболке. Пускай поделится со мной, думаю я. Им есть чем делиться.

Привычная процедура, отрепетированная до мелочей. Когда они подходят на расстояние вытянутой руки, я поворачиваюсь, теряю равновесие и роняю банку с пивом. Пенное пиво выплескивается на мамашин топик и подвернутые брюки папаши.

— Ох, простите. Извините, пожалуйста.

Я делаю движение, словно хочу подобрать упавшую банку, и оказываюсь рядом с детьми. Обоняю их: жир от жареной картошки, жвачка, жизнь.

Мать отталкивает меня.

— Псих ненормальный, — говорит она.

Я делаю вид, что поддерживаю одного из детей. Он теплый и извивается. Я, стараясь выглядеть добрым дядюшкой, придвигаюсь поближе.

— Смотри, мальчик, не упади через перила. А то акулы тебя — ам!

Есть контакт. Сейчас почувствую прилив энергии от мальчика, поток жизни, бьющий через него в меня. Но не чувствую. Вместо этого меня вдруг охватывает странная внезапная усталость. От пива, наверно. Я дрожащей рукой глажу мальчика по голове, чувствуя ладонью солнечные кудряшки. Сосредоточься. Тебе нужна жизнь, горячая жизнь, стеклянные шарики и жвачка, игра в каштаны, карточки из сигаретных пачек. Секреты, нашептанные на ухо лучшему другу в проулке. Первый велосипед. Первый поцелуй. Я подбираюсь, готовый принять этот напор.

Пусто.

Мать косится на меня. Я силуюсь улыбнуться, но улыбка выходит перекошенная, и я чуть не падаю. Я словно пьян, опустошен, словно не я, а из меня вытянули жизнь, высосали до костей. Мальчик улыбается, и мгновение я вижу его очень ясно: лицо, подсвеченное красной неоновой вывеской ближайшего пассажа, сияет, большие глаза словно светятся.

Мать склоняется ко мне — она пахнет розами, и маслом для жарки, и той дрянью, которой закрепляют прически, жаркая смесь ароматов, все горячее и горячее... Я ничего не могу с собой поделать. Тянусь к ней, задышающийся, оголодавший, запыхавшийся, и внезапно меня охватывает леденящий холод.

— Помогите, — шепчу я.

— Псих ненормальный, — повторяет она.

Небрежно, без всякого сочувствия. К ней направляется отец семейства, медленные, легкие шаги вызванивают поперек пирса. У матери мягкие и ароматные руки, бусинки пота застряли в персиковых волосках, покрывающих толстые розовые предплечья. Мир на секунду становится серым. Голос у нее густой и вязкий, словно рот набит тортом, и в однообразных интонациях мне чудятся нотки веселья.

— Папочка, брось его, — говорит она. — Что зря кровь портить.

Я смотрю в удаляющиеся спины, и холод начинает отступать. Мир чуточку светлеет, и мне удается сесть. Я чувствую себя так, словно мне двинули в челюсть. Но четверо сияют, подсвеченные огнями пляжа. Пробегает девочка с мороженым, кинув на меня мимолетный взгляд. От ее кожи так же разит жаром, таким же обещанием жизни. Я гляжу на нее с настила пристани, пытаюсь дотянуться, она так близко, что пальцы чешутся. От нее исходит печной жар. Жизнь. Я жажду ее до потери сознания. И все же останавливаюсь, несмотря на голод, — внезапно испуганный живостью девочки, ее невинной жадностью. Я так слаб, что чувствую: она может заморозить меня насмерть, даже не заметив.

Фраера гуляют мимо, не достаивая меня взглядом. Они все цветущие, шумные, краснолицые, расступаются и вновь смыкают ряды, словно горячая река меня обтекает. Я столько времени прожил среди узких улиц и туманов Уитби, что совсем забыл, как полнокровны живые. И все же их всех что-то роднит, какое-то словно бы семейное сходство. Для живых людей они какие-то слишком яркие, слишком блестящие. Я вспоминаю, какие отдыхающие были в Уитби в стародавние времена — худые юнцы в черном с печальными натужными лицами, серая кожа, унылость. Среди этих людей нет ни одного унылого, им всем присущ тот самый блеск, который я начинаю узнавать... Здоровые — кровь с молоком. Полноватые в

талии. С приятными лицами. Иллюзия бьющей через край жизни.

Так вот куда они все деваются, вампиры неправильного типа: рынок выталкивает их сюда. Они находят себе место здесь, меж ярких огней, торговых пассажей, рыбных лавок и американских горок. Они неотличимы от настоящих. Может, кто-то скажет, что и лучше настоящих. Они не умирают, не изменяются: бодрые отдыхающие в бесконечном отпуске. Я медленно поднимаюсь и начинаю пробираться сквозь толпу, жадно заполонившую пристань. Головы поворачиваются мне вослед. Деликатные пальцы порхают по моей коже. Я смутно думаю — а сколько же их здесь, во сколько раз их больше, чем живых? В десять? В сто? В тысячу? Или теперь их так много, что им приходится питаться друг другом, бескровно, жадно, плечом к плечу, с грубым, ухмыляющимся дружелюбием?

Огни променада крикливы, как светящаяся приманка для ночного лова, скользящая по черной воде. Они манят жизнью. Горячкой жизни. Я слишком слаб, чтобы уйти далеко от этой далекой надежды. Я устало иду назад, к огням, стараясь не встретить на пути самого себя: очередного кровососа, бредущего в темноте по долгой дороге в Вифлеем. [\[80\]](#)

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

В эпоху ботокса, пирсинга на теле и неудачных пластических операций очень хочется думать, что были и другие времена, гораздо романтичней. Мечтать не вредно.

Только явившись ко двору, я понял, до чего воняют богатые. На самом деле даже больше, чем бедные: в деревне гораздо меньше предлогов, чтобы не мыться. Здесь же принятие ванны означает нарушение нормальной жизни: воду нужно нагреть, потом натаскать в комнату, принести губки, щетки, духи, полотенца и прочие снаряды, им же несть числа, не говоря уже о самой ванне — чугунной, тяжелой, — которую нужно достать из хранилища, очистить от ржавчины, а потом лакеи должны втащить ее наверх по бесконечным лестничным пролетам в будуар мадам.

Она в дезабилье, ждет. На ней сак^[81] из розового люстрина с ленточками кораллового оттенка, столь популярного в этом сезоне, модницы называют его *soupir étouffé*.^[82] Корсеты под сакот серы от пота, расплывшегося кольцами, одно кольцо за другим, словно распиленный ствол очень старого дерева.

Но мадам богата; у нее в хозяйстве столько белья, что служанки стирают его только раз в год, на плоских черных камнях *laveraiе*,^[83] у Сены. Нынче сентябрь, и комната для белья заполнена лишь наполовину; но все равно мускусный запах интимных принадлежностей мадам разносится по ступенькам, в коридор, в утреннюю комнату, где даже четыре вазы срезанных цветов и подвесной помандер^[84] не в силах заглушить этой вони.

Однако мадам — признанная красавица. Мне рассказывали, что мужчины посвящали сонеты ее глазам, поражающим своей красотой. Чего, однако, никак не скажешь о ее гнилых зубах или о бровях, которые по моде сбриты и заменены фальшивыми, из мышинных шкурок, приклеенных рыбьим клеем посреди лба. К счастью, запах рыбьего клея не так силен по сравнению с другими и не докучает мадам. Да и с какой стати? Монсиньор использует те же косметические средства, а он принадлежит к числу самых больших модников при дворе. Так считает сам король (его величество, скажем прямо, тоже не розами пахнет).

В ожидании, пока в ванну нальют воды, мадам с некоторым беспокойством разглядывает себя в висящее тут же в будуаре позолоченное

зеркало. Она уже не так молода — ей двадцать два года; и в последнем сезоне, как она заметила, поклонников у нее поубавилось. Монсиньор де Рошфор, который у нее в фаворе, совсем пропал, и это ее весьма расстроило; что еще хуже, по слухам, его в последнее время дважды видели с Фиалкой, оперной танцовщицей с Пигаль.

Мадам разглядывает в зеркало блекнущую кожу. Ее беспокоит это увядание, и она задумывается, что может быть ему причиной. Возможно, избыток балов, любовное разочарование; кроме того, прекрасно известно, что вода коже страшно вредна. Она осторожно наносит на щеку с ямочкой еще чуть-чуть свинцовых белил.

Теперь пудреница; мадам вытряхивает порошок на *houppre*^[85] из гусиного пуха, припудривает лицо и ложбинку меж грудями. Может быть, чуточку румян — но совсем чуточку, иначе скажут, что она отчаянно пытается вернуть уходящую молодость. И пару мушек. Она берет кончиком пальца *la Galante*^[86] и — почему бы нет? — *la Romance*^[87] и приклеивает их тем же рыбьим клеем, на котором держатся брови из мышинных шкурок.

Сойдет. Конечно, не идеал. Мадам слишком хорошо видит тонкие морщинки меж бровей и шелушащееся красное пятно на груди под пудрой. Слава богу, думает она, что существует косметика — а также колье из рубинов, которое она собирается надеть на сегодняшний бал и которое очень хорошо закроет пятно стригущего лишая.

— Жанетта! — Мадам начинает терять терпение. — Где горячая вода?

Жанетта объясняет, что воду греет на кухне Мари, и обещает, что вода скоро будет. Жанетта принесла Сапфира, собачку мадам, надеясь, что он послужит развлечением, но мадам уже сердится. Она спрашивает, где платье. Его почистили? Отгладили? Готово ли оно к сегодняшнему балу?

Жанетта уверяет, что да.

— Так неси, неси его, дура, — сердится мадам, и через пять минут это произведение искусства вносят.

Чтобы протащить его в дверь, нужны две камеристки, потому что оно тяжелое даже без плетеных обручей кринолина, на которые мадам его наденет. Юбка из малиновой парчи сплошь покрыта золотым шитьем, и мадам натянет ее на огромный обруч поверх нижней юбки цвета темного золота. Юбка будет качаться вокруг бедер, мадам будет танцевать, колеблясь с изяществом восточной куртизанки, и все ее воздыхатели — особенно монсиньор де Рошфор — только ахнут, глядя на нее с вожделением и восторгом.

Но одежда тяжела, ведь на нее пошло полных четыре ливра золотой

нити, а обувь мадам — котурны на венецианский манер, для красоты, а не для удобства, на платформах, возносящих мадам, женщину среднего роста, на высоту почти королевского величия. Оттого юбка сделана длинней, а внутри левой половины кринолина спрятано хитроумное приспособление вроде табурета, на которое мадам может при случае присесть, если ноги устанут от туфель.

И еще я знаю (потому что человеку в моем скромном положении многое открыто), что приспособление это играет двойную роль. В нем, на шарнирах, чтобы можно было убрать внутрь кринолина или, наоборот, выдвинуть, когда надо, прячется горшок, избавляя мадам от необходимости неловко присаживаться в кустиках (или, что еще хуже, мочиться в скатанные чулки). Так что она может танцевать ночь напролет с многочисленными поклонниками, ни о чем не беспокоясь.

— Жанетта, ванну!

Бедная Жанетта выбивается из сил: для ванны нужно сорок или пятьдесят ведер воды, а мадам любит, чтобы ванна была полна до краев. Но другие камеристки тоже заняты: одна бежит за коллекцией вееров, чтобы мадам выбрала подходящий к сегодняшнему балу, а три другие трудятся над куафюрой.

Как все поистине элегантные модницы, мадам брита наголо. Взамен на ней будет парик величественных пропорций и поистине оригинальной формы. Она не наденет какой-нибудь провинциальный *Chien Couché*^[88] или вышедший из моды *Venus*; ее головной убор, украшенный перьями и набитый конским волосом, — полных три фута высотой. Серая пудра будет завершающим элегантным штрихом; однако, хоть парик сильно надушен мускусом и розовым маслом, он все равно явственно пахнет мышами. Правда, я думаю, что мадам этого не заметит. Соединенная вонь заношенного белья, застарелого пота, рыбьего клея и содержимого горшка, спрятанного в кринолине, и без того бьет в нос.

Мадам, гневаясь на неповоротливую Жанетту, все ждет ванны. Сапфир тоже теряет терпение: он тявкает и рычит на горничных, когда они занимаются своим делом — помогают мадам выбрать веер. У нее большая коллекция вееров: из слоновой кости, перьев, искусно раскрашенной куриной кожи. Эти воняют особенно омерзительно — из гардероба, в котором они хранятся, разит, как из курятника. Мадам, кажется, не замечает запаха; по моему совету она выбирает ало-золотой веер под цвет платья и начинает грезить о *billets-doux*,^[89] которые получит на балу. Быть может, юный монсиньор де Рошфор принесет ей записку в букетике или салфетке;

в последнее время он столь ветрен, дарит своим вниманием то одну даму, то другую, но сегодня вечером мадам уверена, что затмит всех.

— Жанетта, воду!

Какая добука, но делать нечего. Раз в полгода — не такой уж большой труд, и, кроме того, через несколько часов начнут наносить визиты молодые люди, и мадам должна встретить их во всеоружии. Она разглядывает свои ноги. Волдыри с последнего опаливания почти сошли, волоски хоть и темные, но их немного. Мадам выдергивает их пинцетом: очень возможно, что монсиньор де Рошфор предложит ей прогулку по саду, а все знают, что дама не должна даже думать о галантном приключении, если у нее волосатые ноги.

— Мадам? Ванна.

Бедная Жанетта вся взмокла. Она больше сорока минут таскала наверх ведра с водой. Вода еще теплая, хотя уже не горячая, и я успел надушить ее стефанотисом и шипром. У нас двоих уходит некоторое время на то, чтобы обездвигнуть Сапфира, который лает, вырывается и пытается кусаться; но вот он уже погружен в тепловатую воду, и Жанетта может приступить к нему со щеткой.

Мадам тем временем наносит завершающие штрихи и сидит перед зеркалом, замороженная своей красотой. Несомненно, на этот раз монсиньор де Рошфор будет очарован. За спиной у мадам мы с Жанеттой боремся с Сапфиром, пытаюсь завернуть его в полотенце. Чуть фиалковой эссенции — но это, кажется, не заглушает, а усиливает вонь мокрой псины.

Все равно, думаю я, отряхиваясь, мне выпала большая честь — служить такой красивой, модной даме. Я прекрасно знаю, что моя чувствительность граничит с уродством: моя способность ощущать запахи чудовищна, и в сочетании с моим деревенским воспитанием это означает, что придворные дамы (и господа) мне не нравятся, сколь бы я ни желал обратного. Если будет на то Господня воля, когда-нибудь я научусь находить их привлекательными. А пока что я должен выполнять свои обязанности. Я *парфюмер* мадам: ваш покорный слуга, монсиньор де Шанель.

notes

Примечания

Имеется в виду рассказ А. Дж. Дейча «*A Subway Named Moebius*» (1958), в русском переводе — «Лист Мёбиуса». (Здесь и далее — примеч. перев.)

Эстрадный номер двух британских комиков, Джорджа Логана и Патрика Файфа, выступавших в образах пожилых интеллигентных дам: доктора Эвадны Хиндж и леди Хильды Брэкет.

Буч Кэссиди и Сандэнс Кид — два известных американских бандита, герои американского кинофильма «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», снятого в 1969 году.

Джинджер Роджерс (1911–1995) — знаменитая американская актриса, певица и танцовщица, выступавшая в паре с Фредом Астером.

Задворки (*The Backs*) — район Кембриджа, луга вдоль реки Кем, где территория нескольких колледжей захватывает оба берега, при этом на реку выходят противоположные фасады части территории колледжей (отсюда название).

6

Фешенебельный район Лондона с дорогими магазинами.

Знаменитый своей приверженностью английским традициям универсальный магазин. Расположен на улице Пикадилли в Лондоне, основан в 1707 году.

Сладкое французское печенье.

Замороженное сладкое блюдо из сливок, яиц, сахара и ванили, подается в стаканах.

10

Стеклянные башмачки (фр.).

11

Соответствует 42-му российскому размеру одежды.

«Мой принц придет однажды» — песенка Белоснежки из мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов».

Пуговица (*Buttons*) — персонаж классической пантомимы «Золушка», слуга Золушкиного отчима, друг Золушки.

Ср.: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно...» (1 Кор 13:12).

Традиционный английский рецепт, разновидность кекса, часто покрывается глазурью и разноцветными украшениями.

«Арчеры» («*The Archers*») — британская мыльная опера, длиннейшая из ныне звучащих радиопостановок (насчитывает 15000 выпусков).

Блюдо английской кухни, запеканка из мясного фарша с картофельным пюре.

Блюдо английской кухни (несмотря на название, это не пудинг, а пирог).

Скегнесс, Залив Робин Гуда — популярные приморские курортные городки в Англии.

Блюдо индийской кухни — цветная капуста, картофель и шпинат с карри.

«*Gentleman's Relish*» — паста из анчоусов со сливочным маслом и специями.

«Страсть к человеческому мясу» (фр.).

Мясо (фр.).

Солнцеворотное полено (*Yule log*) — традиционный английский пирог в форме полена; Yule — языческий зимний праздник, в наши дни слившийся с Рождеством; название пирога происходит от «солнцеворотного полена», которое на зимний солнцеворот традиционно клали в камин, чтобы оно горело там двенадцать дней.

Кончена (фр.).

Последняя [вечеринка] (фр.).

1 стоун — около 6 кг.

Аллюзия на британский комедийный фильм 1966 года «Не тот ящик» («*The Wrong Box*»), снятый по мотивам комической повести Р. Л. Стивенсона и Л. Осборна (в русском переводе — «Несусветный багаж»).

Макаронные изделия черного цвета.

«*News of the World*» — британский воскресный таблоид, выходит с 1843 г.

«Сливки сливок» (фр.).

Жатый (фр.).

Знаменитая композиция американского композитора Джона Кейджа (1912–1992) для вольного состава инструментов, где 4 минуты 33 секунды длится полная тишина.

Недоразумение (*фр.*).

Базилика в Париже, на Монмартрском холме.

Разноцветные карамельки.

Веснаблюдатели (*Weight Watchers*) — компания — производитель продуктов пониженной калорийности, а также люди, посещающие группы поддержки для желающих похудеть, организованные этой компанией в более чем 30 странах мира.

Стоун — мера веса, равная 14 фунтам, или 6,34 кг. Вес Кэнди — около 65 килограммов, желаемый — около 60. Кристина весила около 86 килограммов.

«Зрелый студент» (*mature student*) — человек в возрасте более 35 лет, впервые получающий высшее или среднее специальное образование.

Система национального здравоохранения (*National Health System*) — бесплатная государственная система медицинских услуг и здравоохранения в Великобритании.

Вариация на тему псалма 54 (в западной традиции — 55) на музыку Мендельсона, впоследствии аранжированная группой *Madness*.

«Теско» — сеть супермаркетов в Британии; название рассказа, отдельные элементы сюжета, имена героев содержат аллюзии на фильм «Завтрак у „Тиффани“» («*Breakfast at Tiffany's*», 1961, режиссер Блейк Эдвардс) с Одри Хепберн и Джорджем Пеппардом в главных ролях, снятый по одноименной повести Трумена Капоте. Рассказ содержит скрытые и явные цитаты из фильма.

Луис Бунюэль (1900–1983) — испанский режиссер, классик мирового кинематографа.

Жан Кокто (1889–1963) — французский поэт, романист, драматург, кинорежиссер и эссеист.

Блейк Эдвардс (р. 1922) — американский режиссер, сценарист и продюсер, мастер мелодрамы и комедии, постановщик «Завтрака у „Тиффани“» (1961).

«Красотка» («*Pretty Woman*», 1990) — фильм режиссера Гарри Маршалла с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.

Марлон Брандо (1924–2004) — выдающийся американский актер театра и кино.

«Короткая встреча» («*Brief Encounter*», 1946) — фильм режиссера Дэвида Лина.

«Касабланка» («*Casablanca*», 1942) — фильм режиссера Майкла Кертиса с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман.

«Забавная мордашка» («*Funny Face*», 1957) — музыкальная кинокомедия режиссера Стэнли Донена с Одри Хепберн и Фредом Астером.

«Полуночная жара» («*In the Heat of the Night*», 1967) — фильм режиссера Нормана Джуисона.

«Римские каникулы» («*Roman Holiday*», 1953) — фильм режиссера Уильяма Уайлера с Одри Хепберн и Грегори Пеком.

«Грозовой перевал» («*Withering Heights*», 1939) — фильм режиссера Уильяма Уайлера по одноименному, неоднократно экранизированному роману Эмили Бронте.

Сэр Лоуренс Оливье — известный английский актер (1907–1989), удостоенный рыцарского звания в 1947 году.

«*The Unforgiven*», 1992.

«*The Unforgiven*», 1960.

«Все о Еве» («*All about Eve*», 1950) — фильм режиссера Джозефа Лео Манкевича с Бетт Дэвис и Мэрилин Монро.

«Дневная красавица» («*Belle de Jour*», 1967) — фильм режиссера Луиса Бунюэля с Катрин Денёв в главной роли; история домохозяйки, которая решила подработать проституцией.

Генри Манчини (1924–1994) — знаменитый американский композитор и аранжировщик, автор музыки ко многим кинофильмам (в том числе к «Завтраку у „Тиффани“»).

60

184 сантиметра.

61

Охранник (фр.).

Стив Джексон — британец, один из основателей компании «*Games Workshop*», создавшей легендарную игровую вселенную Молота Войны (*WarHammer*).

«Оксфам» (*Oxfam*) — сеть магазинов подержанных товаров, принадлежащая одноименной благотворительной организации.

Территориальная армия — в Британии один из компонентов национального резерва вооруженных сил.

«Чего мы ждем?» («*Why are we waiting?*») — песня шотландской рок-группы *Bis*.

В здоровом уме (*лат.*).

Дэмиен Хёрст (*Damien Hirst*, р. 1965) — британский художник, автор многочисленных инсталляций и работ на тему смерти. Наиболее известная его работа — серия *Natural History*: ряд мертвых животных, законсервированных в формальдегиде.

Флиппер (*Flipper*) — кличка дельфина, героя ряда одноименных фильмов и телесериалов (1963,1964,1983,1991, 1995,1996).

Прерафаэлиты — эстетико-мистическое направление в английской живописи второй половины XIX в. Часто изображали бледных, томных рыжеволосых дев.

Южный Кенсингтон — дорогой, престижный район Лондона.

Ребенок (*ит.*).

«Плющ» («*The Ivy*») — один из известнейших ресторанов Лондона.

Сицилийская разновидность баклажанной икры.

Жареные кальмары (*ит.*).

Панцетта — итальянский вариант бекона.

Итальянский зеленый соус (готовится из рубленой свежей зелени, чеснока, каперсов, анчоусов, лимонного сока или уксуса, оливкового масла, соли и перца).

Превосходно (*ит.*).

Миленький, любимый (*ит.*).

Уитби — город в Англии, где Брэм Стокер писал свой классический роман про вампиров «Дракула». Сам город тоже описан в романе.

Аллюзия на стихотворение У. Б. Йейтса «Второе пришествие», говорящее о близости конца света; в частности, упоминаются кровавый прилив и чудовище, которое должно родиться в Вифлееме.

Дамское платье полностью свободного покроя или приталенное спереди, с байтовыми складками на спине.

Тайный вздох (фр.).

Место для стирки (фр.).

Футляр для ароматического шарика или сбора трав.

Пуховка (фр.).

Куртуазность (фр.).

Любовная связь (фр.).

Спящая собака (фр.).

Любовные записки (фр.).